



СЕРГЕЙ
ГОРЮНКОВ

ЗАКУЛИСЬЕ
ПУШКИНСКИХ
СКАЗОК

ГВИДОНЕРИЯ

*

МЁРТВАЯ ЦАРЕВНА
И СПЯЩИЙ НАРОД

*

ТАЙНА ЗОЛОТОГО
ПЕТУШКА

А Л Е Т Е Й Я

Сергей Горюнков

Закулисье пушкинских сказок

«Алетейя»

2020

УДК 821.161.1 Пушкин.07
ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8 Пушкин А.С.

Горюнков С. В.

Закулисье пушкинских сказок / С. В. Горюнков — «Алетейя»,
2020

ISBN 978-5-00165-131-4

С детства все знают пушкинское присловье «сказка ложь, да в ней намёк», но с детства же все привыкают смотреть на него как на чисто поэтический оборот речи. А если и соглашаются понимать намёк буквально, то лишь в морализаторском смысле. Но почему? Не потому ли, что, в отличие от прежнего, так называемого традиционного сознания, в сознании современных людей почти полностью изжита, за кажущейся своей бесполезностью, такая важная составляющая мыслительной работы, как способность к олицетворению понятий и явлений? И не следует ли её утрату рассматривать как культурную катастрофу? Ведь в том-то и обнаруживала себя сущность традиционного сознания, что способностью олицетворять понятия и явления обеспечивалось восприятие всей окружающей реальности как Семьи - чем, в свою очередь, создавался удивительно тёплый, одухотворяющий настрой коллективного мироощущения. И наоборот: современное сознание, утрачивающее такую способность, утрачивает вместе с ней и душевную теплоту восприятия родины (большой и малой), голоса предков, долга перед близкими, ответственности перед потомками - утрачивает именно потому, что все эти понятия становятся для него «просто словами», ничего не говорящими ни уму, ни сердцу. Живая плоть истории превращается таким сознанием в отчуждённый механический «прогресс»; прошлое, настоящее и будущее перестают согреваться интимно-личностным, сопереживающим отношением к бедам и радостям собственной страны и народа. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1 Пушкин.07
ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8 Пушкин А.С.

ISBN 978-5-00165-131-4

© Горюнков С. В., 2020

© Алтейя, 2020

Содержание

Введение	7
Гвидонерия	13
Глава 1	13
Глава 2	16
Глава 3	21
Глава 4	22
Глава 5	25
Глава 6	27
Глава 7	30
Глава 8	33
Глава 9	35
Глава 10	37
Глава 11	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Горюнков

Закулисье пушкинских сказок

Каждый раз, что я поговорю с Пушкиным, я выношу из разговора прекрасное впечатление. Обо всём он передумал и размышлял о множестве предметов, о которых здесь не говорят. Он какой-то всеведущий, всезнающий, и у него оригинальный взгляд на историю.
Из «Записок» А. О. Смирновой-Россет

Книга издана при содействии Ю. А. Бабаева и А. Г. Максименкова.

НЕЗАВИСИМЫЙ АЛЬЯНС



ААЕТЕЙЯ

© С. В. Горюнков, текст, оформление, 2020

© Издательство «Алтейя» (СПб.), 2020

Введение

Теневой ресурс педагогики. В одном чеховском рассказе прокурор окружного суда Евгений Петрович Быковский, узнав от гувернантки, что его семилетний сын Серёжа курит, встаёт перед необходимостью принять какие-то педагогические меры. Приводятся его отвлечённые размышления на тему, «как ещё мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, литературная...». Изображаются его растерянность: «Что же я ему, однако, скажу?», беспомощность в переборе педагогических приёмов: «Прежде, в моё время, эти вопросы решались замечательно просто – всякого мальчугу, уличённого в курении, секли. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными». Отмечается его осведомлённость в теоретических вопросах педагогики: «Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребёнок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно». С юмором описывается его полнейшая неспособность убедить сына в недопустимости курения: «Вот тут и пори его. Вот тут и изволь измышлять наказания. Нет, куда уж нам в воспитатели лезть.».

«Пробило десять часов.

– Ну, мальчик, спать пора, – сказал прокурор. – Прощайся и иди.

– Нет, папа, – поморщился Серёжа, – я ещё посижу. Расскажи мне что-нибудь. Расскажи сказку.

– Изволь, только после сказки – сейчас же спать...

В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Серёже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона “в некотором царстве, в некотором государстве”, далее городил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец. Картины, лица и положения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой, помимо воли рассказчика. Серёжа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

– Слушай, – начал он, поднимая глаза к потолку. – В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь с длинной седой бородой и... и с этикими усами. Нус, жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины, бергамоты, черешни, цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы. Да. На деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло даёт более мягкий и нежный звук, чем металл. Ну-с, что же ещё? В саду били фонтаны. Помнишь, ты видел на даче у тёти Сони фонтан? Вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

– У старого царя был единственный сын и наследник царства – мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и, вообще был умница. Один только был у него недостаток – он курил.

Серёжа напряжённо слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал: “Что же дальше?”/ Он долго, как говорится, размазывал да жевал и кончил так:

– От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было двадцать лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольчиков. Так-то, братец.

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на Серёжу вся сказка произвела сильное впечатление... его глаза подёрнулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел задумчиво на тёмное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом:

– Не буду я больше курить.

Когда он простился и ушёл спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался.

“Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, – размышлял он, – пусть так, но это не утешительно. Всё-таки это не настоящее средство. Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально. Фальсификация, обман. фокусы.”

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить “речь”, публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романсов, стихов.

“Лекарство должно быть сладкое, истина красивая. И эту блажь напустил на себя человек со времён Адама. Впрочем. Быть может, всё это естественно и так и быть должно. Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий.”

Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго ещё бродили в его голове.» (А. П. Чехов. «Дома»).

Заменим «прокурора» на «педагогическую науку» и получим изумительную по глубине и точности изображения картину сегодняшнего состояния этой науки. Подобно прокурору, она имеет свои убеждения: «Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребёнок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно». Подобно прокурору, она время от времени самокритично подвергает сомнению собственные методы: «Не то! Совсем не то!...». Подобно прокурору, она догадывается, «какую неразумную подкладку нередко имеет... разумная деятельность и как ещё мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, литературная». Подобно прокурору, она постоянно убеждается в существовании своего рода «теневого ресурса» педагогики – неких безотказных воспитательских приёмов, эффективность которых неизмеримо превосходит весь профессионально-педагогический инструментарий: «... тут подействовала красота, художественная форма.». Подобно прокурору, она остаётся неколебимой в своём “научно-методологическом” отношении к этим приёмам: «Всё-таки это не настоящее средство. Это ненормально. Фальсификация, обман, фокусы.». И подобно прокурору же, она позволяет себе широту взгляда на вещи, но – уже за пределами собственной профессиональной сферы, на уровне «ленивых домашних мыслей»: «Впрочем. быть может, всё это естественно и так и быть должно. мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий.».

Но есть и существенное различие между чеховским прокурором и современной педагогической наукой. И связано это различие с явственно намечающимися сегодня изменениями в научном взгляде на природу языка.

Дело в том, что педагогика – это наука, которая, наверное, меньше какой-либо другой может считаться самодостаточной – поскольку её «сверхзадача» заключается не только в обеспечении процесса передачи культурной традиции от поколения к поколению, но и в обогащении этого процесса всем тем, что привносится в традицию каждым поколением. То есть, качество педагогической деятельности неотделимо от уровня разработанности тех областей воспитания и образования, в которых эта деятельность проявляется. И в первую очередь

это относится к тем областям воспитания и образования, которые являются базовыми, предпосылочными для всего остального знания, которыми закладываются этико-мировоззренческие основы воспитуемых и обучаемых. Вот почему современной педагогике всё чаще и чаще (гораздо чаще, чем чеховскому прокурору) приходится говорить самой себе: «Не так я объясняю! Не то! Совсем не то!»/

Взять хотя бы ситуацию с теми же сказками. Не только в чеховские времена, но и в гораздо более поздние, вплоть до нынешних, отношение к ним варьирует в рамках прокурорских определений: “фальсификация”, “фокусы”, “целесообразный обман”, “иллюзия”. Но вот возьмём фундаментальное двухтомное издание «Мифы народов мира»¹, в составлении которого принимали участие крупнейшие специалисты страны, и читаем в предисловии:

«Будучи системой первобытного мировосприятия, мифология включала в себя в качестве нерасчленённого, синтетического единства зачатки не только религии, но и философии, политических теорий, донаучных представлений о мире и человеке, разных форм искусства, прежде всего словесного»; «Мифология в силу своей синкретической природы сыграла значительную роль в генезисе различных идеологических форм, послужив исходным материалом для развития философии, научных представлений, литературы. Вот почему так сложна (и не всегда полностью разрешима в рамках жёстких определений) задача размежевания не только мифологии и религии, но и близких к мифу по жанру и времени возникновения форм словесного творчества: сказки, героического эпоса, а также легенды, исторического предания. Так, при размежевании мифа и сказки современные фольклористы отмечают, что миф является предшественником сказки. Мифология оказала влияние на формирование героического эпоса. Через сказку и героический эпос, возникшие в глубоких недрах фольклора, с мифологией оказывается генетически связанной и литература.»²

А вот цитата из труда ещё одного авторитетного специалиста в области мифологических представлений:

«Конкретная картина того, каким образом из практики ритуальных измерений и числового “бриколажа” возникали ранние варианты математической науки, из мифопоэтических териоморфно-вегетативных классификаций возникла зоология и ботаника, из учения о космических стихиях и составе тела – медицина, из размыкания последнего этапа в текстах об акте творения – история, а из спекуляций над схемами мифопоэтических операций и лингвистического “бриколажа” – начала логики, языка науки (метаязыка) и лингвистики, – хорошо известна и многократно описана. Во всяком случае древнегреческая натурфилософия в лице Гераклита, Пифагора, Анаксагора, история в лице Геродота, логика и математика в лице Аристотеля и Эвклида (и того же Пифагора) сохраняют живые связи с наследием мифопоэтической эпохи.

В ещё большей степени то же можно сказать о том, что называют началами науки в древней Индии или в Китае... И, конечно, в высшей степени характерно, что современная наука приходит к исключительно высокой оценке операционной ценности и познавательной силы первобытного знания именно в самые последние годы»³

Как видим, современная наука усматривает в человеческой культуре (и в первую очередь в её главном интерпретанте – языке) своего рода “конечный продукт осмысленной рефлексии над сказками” (точнее – над тем, что им предшествовало). Но тогда получается, что “теневого ресурса” педагогики давно уже созрел для выхода из “тени” педагогической недооценки на свет серьёзного к себе отношения. Особенно с учётом известных слов А. С. Пушкина, написанных брату Льву Сергеевичу из Михайловского: «...вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания.».

Принцип иносказательности. Вопреки тому, чему нас учит безнадежно устаревшая «теория отражения», иносказательность – это не частный аспект смысловыражения, а проявление фундаментального, общего для всей истории языка культуры принципа. Понимать глубинную структуру и функции этого принципа – означает уметь отвечать на важнейшие вызовы современности, означает находиться на переднем крае современной борьбы за умы.

Дело в том, что мы находимся внутри потока замкнутых друг на друга языковых понятий, каждое из которых раскрывается через посредство других понятий, а эти другие – через посредство новых понятий и так далее – вплоть до исчерпания всего языкового универсума⁴. И данным фактом определяется принципиально иносказательная суть процессов смысловыражения. То есть принцип иносказательности лежит в основе самой природы языковых понятий – в основе «символической функции языкового сознания»⁵. Именно поэтому он и находится в фокусе такого актуального научного направления в изучении человеческой культуры, как герменевтика – наука об истолковании текста, к которой, по сути, всё современное гуманитарное знание и сводится.

Ситуация становится ещё интереснее, когда на иносказательность, присущую языку органически, накладывается сознательная авторская «игра словами». Здесь уже авторский текст оказывается не только концентрированным, но и многослойным средоточием информации огромного культуроносного значения. Будучи воплощён в техниках «олицетворения», «уподобления», «аналогии» и др., принцип иносказательности позволяет переводить разговор о сложнейших понятиях и явлениях из сферы отвлечённой «информированности» в сферу личностного сопереживания. А это значит, что любое содержание, обращённое к уму, этот принцип трансформирует в содержание, обращённое к чувствам. Тем самым он оптимальным образом совмещает в себе и обеспечивает единство двух основных составляющих педагогической науки: воспитания чувств и образования ума.

Проблема, однако, в том, что, хотя на всём протяжении мировой и, в частности, русской культурно-исторической традиции принцип «иносказательности» по умолчанию всегда выступает в роли универсального инструмента педагогической и просветительской деятельности, самим обществом значение его образовательной и воспитательной роли осознано и освоено в далеко не достаточной мере. Наоборот, мы видим, что сегодня принцип иносказательности широко применяется во вред обществу – в разного рода технологиях нейролингвистического программирования, зомбирования, рекламного «одебиливания» и прочих способов манипулирования массовым сознанием.

Противоядие от манипулятивных технологий – иносказательные «иммунотехнологии». И как тут не вспомнить язык пушкинских сказок, о тайне которого нам уже около двух столетий напоминает знаменитое присловье: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»?

Намёки без уроков. С детства все знают это присловье, но с детства же все привыкают смотреть на него как на чисто поэтический оборот речи. А если и соглашаются понимать намёк буквально, то лишь в морализаторском смысле. Аллюзия на что-то большее – с порога отвергается; сама постановка вопроса о такой возможности выглядит едва ли не признаком читательской наивности и литературоведческой неискущённости. Но почему? Не потому ли, что, в отличие от прежнего, так называемого традиционного сознания, в сознании современных людей почти полностью изжита, за кажущейся своей бесполезностью, такая важная составляющая мыслительной работы, как способность к олицетворению понятий и явлений?

Способность эта уходит своими корнями в те древнейшие и во многом таинственные смысловые пласты языковой культуры, которые у специалистов носят общее наименование мифологического мышления. Её остаточные проявления до сих пор напоминают о себе и в языке поэзии (в его метафорическом строе), и в языке религии (в притчевом характере Евангелий, в аллегоризме святоотеческой литературы). А утрату этой способности современным мас-

совым сознанием следует, без преувеличения, рассматривать как культурную катастрофу. Дело в том, что сознание, сохранявшее в себе способность к олицетворению понятий и явлений, делало их тем самым близкими себе и родными. Ведь в том-то и обнаруживала себя сущность традиционного сознания, что в «матери-родине» члены рода действительно видели мать рода, а не абстрактное понятие, а солнечное светило действительно принималось «дажьбожьими внуками» за всеобщего дедушку, а не за бездушный источник тепла и света. То есть способностью олицетворять понятия и явления обеспечивалось восприятие всей окружающей реальности как Семьи – чем, в свою очередь, создавался удивительно тёплый, одухотворяющий настрой коллективного мироощущения. И наоборот: современное сознание, утрачивающее такую способность, утрачивает вместе с ней и душевную теплоту восприятия родины (большой и малой), голоса предков, долга перед близкими, ответственности перед потомками – утрачивает именно потому, что все эти понятия становятся для него «просто словами», ничего не говорящими ни уму, ни сердцу. Живая плоть истории превращается таким сознанием в отчуждённый механический «прогресс»; прошлое, настоящее и будущее перестают согреваться интимно-личностным, сопереживающим отношением к бедам и радостям собственной страны и народа.

Разумеется, до окончательной деградации дело пока ещё не дошло; мы живём сегодня как бы в промежуточном состоянии полураспада сознания. С одной стороны, поэты продолжают по инерции пользоваться «языком олицетворений», но это для них уже лишь формальный приём стихотворчества, а не выражение сути мировоззрения. С другой стороны, взывающие к совести и долгу идеологи тоже обращаются нередко к этому языку, но подлинные основания их идеологии им самим уже не понятны. На этой-то стадии расщепления сознания и возникает массовая глухота к эзотерике слова.

Но если даже сегодня она не успела ещё стать всеобщей, то почему бы не предположить, что таящаяся в ней угроза нравственному чувству народа беспокоила уже А. С. Пушкина? То есть почему бы не допустить, что Пушкин отлично понимал и благотворное значение «языка олицетворений», и стоящую за ним роль эзотерического пласта в целом? А допустив такое, почему бы не согласиться уже и с тем, что в своём творчестве он мог пользоваться языком олицетворений вполне осознанно?

Дальше будет показано, что все эти «почему» не так уж и безосновательны.

Метод построения книги. Предлагаемая книга в значительной своей части состоит из ссылок (иногда весьма объёмистых) на труды других авторов. А поскольку сам метод цитирования воспринимается не всегда и не всеми однозначно, то хочу предварительно объяснить своё собственное к нему отношение.

Во-первых. Считается нередко, что пользование чужими текстами – это результат привычки жить «заёмным» умом. Я же думаю, что это – наивная точка зрения, потому что, на мой взгляд, «незаёмного» ума не бывает вообще. Тот ум, который считает себя «незаёмным», на самом деле просто не осознаёт своей зависимости от собственных неявных предпосылок и, следовательно, от чужих мыслей. Но если такая зависимость умом осознаётся, то она и должна выражаться в цитировании как дани уважения своим предшественникам и учителям.

Во-вторых. Меньше всего мне хотелось бы в этой книге удивить кого-либо своими собственными мыслями. Наоборот, задача ставилась диаметрально противоположная: привлечь внимание читателя к обилию чужих интереснейших идей и выводов в их неожиданных сочетаниях и взаимосвязях, образующих, иногда вопреки первичным намерениям авторов, совершенно самостоятельные, не зависящие от их воли, смысловые поля.

И в-третьих. Настоящую книгу можно при желании рассматривать как экспериментальный учебник истории, где определяющим является слово «учебник». Учебники же предназначены для того, чтобы учителя учили по ним учеников. Поэтому чем больше учителей (в каче-

стве цитируемых авторов) будет вовлечено в учебный процесс, тем больше шансов на то, что и сам учебник окажется востребованным.

¹ Мифы народов мира. Т 1–2. М.: «Советская энциклопедия», 1980.

² Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира. Т 1. С. 14–15.

³ Топоров В. Н. Первобытные представления о мире // Очерки истории естественно-научных знаний в древности. М.: Наука, 1982. С. 35–37.

⁴ Горюнков С. В. О проблемах изучения смысловой организации культуры [Электронный ресурс] // Горизонты гуманитарного знания. 2019. № 1. С. 131162. – URL: <http://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/955>. (дата обращения: 16.02.2020). DOI: 10.17805/ggz.2019.1.8.

⁵ Там же.

Гвидонерия

Глава 1 Истоки образов

«Будучи в Орше, Пётр Москаль, мнивший себя сыном великого московского князя Феодора Ивановича и его жены Ирины Годуновой, так рассказывал о своей жизни. Когда он родился, то мать его Ирина, узнав о замысле брата своего Бориса Годунова самому стать государем московским, утаила сына, а Борису на вопрос о новорожденном ответила, что родила Бог весть кого, полурёбёнка-полумедвежонка. На тот раз Борис оставил её в покое и более ни о чём не допытывался. А Ирина, желая уберечь сына от козней брата, отдала его женщине по имени Анна, Васильевой вдове, жившей в селе Протошине, в тридцати верстах от Москвы. И сказала той женщине, чтобы она Петра тайно положила при дороге, как сироту, а потом бы при свидетелях взяла его к себе в приёмьши. Женщина так и сделала, чтобы и к себе внимания не привлечь, и от ребенка подозрения отвести. И у той женщины Петр воспитывался, пока не вошёл в разум, а мать его тем временем на повторные расспросы брата отвечала, что родила девочку.

Когда же Годунов, от Феодора избавившись, сам на царстве московском сел, а Ирину в черницы постриг, то узнал от своих вещуний, что царевич Димитрий, про убийство которого он и думать забыл, жив. А тут еще слух прошёл по Москве, что Димитрий обитается в Крыму. Тогда Борис пошёл к своей сестре, матери Петровой, в тот монастырь, где она была черницей, и там допытывался у неё о Димитрии, не жив ли он и что она о нём знает. И когда Ирина ему правду сказала, что царевич Димитрий жив и скрывается в тайном месте, то Борис в досаде великой сестру свою прибил, да так, что она тут же и скончалась.

А вскоре после того были на Москве по царскому указу стрельцы из Астрахани, и Пётр, покинув свою воспитательницу, пристал к одному из них, некоему Фёдору. Фёдор Петра, как сироту, усыновил; и шёл Пётр со стрельцами до самой Астрахани, лелея надежду отыскать своего дядю Димитрия. Там он жил у стрельца Фёдора два года, до самой смерти Годунова, никому не открываясь. По смерти же Годунова, когда царевич Димитрий сел на царстве московском государем, Пётр стал думать, как бы ему теперь из Астрахани опять в Москву вернуться.

В ту пору собирался плыть в Москву рекою некий купец астраханский, по имени Кошель. И Пётр просился много раз к нему на судно, и, видя, что не может купца уговорить, открылся ему, что он-де – сын покойного Великого князя московского Феодора. И Кошель взял его с собою до Москвы. Но приплыли они в столицу лишь наутро по убиении Димитрия. И Пётр, судно купца покинув, ушел в город. А тот купец астраханский, Кошель, остался смотреть на великое замешательство московское.

Пётр же поселился у некоего Ивана мясника, на улице Покровской. Спустя некоторое время, когда нынешний Шуйский царем стал, по Москве новый слух прошел, будто царевич Димитрий жив и обитается в Литве и будто это немчин. И Пётр стал теперь думать, как бы ему уйти в Литву. И вскоре выехал из Москвы с купцами смоленскими, и прибыл в Смоленск о святой Пречистой, и жил в Смоленске у некоего Богдана, Микитина сына, скорняка. Тот Богдан-скорняк, имея товар на продажу, условился с литовскими пограничными людьми о торге. И Пётр, взяв его товары, выехал на Миколу до села Василевичи, что близ границы. И там, в Василевичах, были подданные литовские, Максимовичи, Копысской волости, из села Романова, и Пётр одному из них, Степану Логуну, открылся, что хочет найти в Литве своего

дядю, царя Димитрия Ивановича. Логун же его из Василевичей ночью вывел за границу и проводил до Копыси»¹.

Я воспроизвожу «Сказание о Петре Медведьке, москале, в генваре 1607 года» (в собственном переводе со старобелорусского) полностью, потому что, несмотря на его публикацию известным русским филологом О. М. Бодянским в 1846 г., оно для современного массового читателя остается практически неизвестным. Нужно сказать, что современный массовый читатель и вообще-то не подозревает, что Смутная эпоха начала XVII в. была не столько эпохой самозванных сыновей Ивана Грозного, сколько эпохой таких же самозванных его внуков. Так, если Лжедмитриев было всего трое: Григорий Отрепьев, Тушинский вор Богданка и Псковский вор Исидорка, а Лжеиванов и вовсе один, назвавшийся сыном Грозного от Колтовской, то Димитриевых лжеплемянников насчитывалось до дюжины: казак Илейка из Муромы, выдававший себя за «царевича Петра», его брат «царевич Федька», «царевич Август» из Астрахани, «царевич Лаврентий», ещё один «царевич Фёдор», «царевич Климентий», «царевич Савелий», «царевич Семён», «царевич Василий», «царевич Ерошка», «царевич Гаврилка» и «царевич Мартынка» – все будто бы от царя Феодора Ивановича (за исключением Лаврентия, сказавшегося внуком Грозного от царевича Ивана, и Августа, «легенда» которого неизвестна)². Но из всей этой дюжины самозванцев образованному читателю более или менее известен лишь один – Лжепётр-Илейка, казнённый Василием Шуйским вместе с вождём крестьянского восстания Болотниковым. А из народных песен эпохи смутного времени фольклористам известен ещё и Петрушка-самозванец, который, по сюжету песни о нём, выдвигался изменниками-боярами в московские цари и которого, судя по эпитетам «басурманин» и «злой боярин», никак нельзя отождествлять с Петром-Илейкой. Впрочем, специалисты до сих пор считают, что для образа Петрушки вряд ли следует искать исторический прототип³. Что же касается Петра Медведьки, то он странным образом вообще выпал из памяти потомков, несмотря на то что сам О. М. Бодянский в комментариях к публикации первоисточника писал о герое сказания как о своего рода научной сенсации: «Лицо это до сих пор было нам вовсе не известно...»⁴.

Меня, впрочем, Пётр Медведька заинтересовал не столько в качестве действующего лица Смутной эпохи, сколько в качестве персонажа с ярко выраженными фольклорными характеристиками – в качестве носителя оригинальной версии собственного происхождения: «...родила Бог весть кого, полурёбёнка-полумедвежонка». Слишком уж это походило на знакомое с детства по пушкинской «Сказке о царе Салтане»: «Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку».

Тут же подумалось: так вот из какого рода источников черпал Александр Сергеевич материалы для своих сказок! И странно было бы не вспомнить здесь о Пушкине, – ведь в сборнике Бодянского, помимо «Сказания о Петре Медведьке», находилось также и «Сказание о князе Гвидоне», а в нём опять-таки упоминался с детства знакомый царь Дадон.

Все эти детские впечатления и выплыли разом из глубин моего подсознания. Выплыли, попытались организовать в нечто связное, потолкались по закоулкам памяти, поискали, за что бы зацепиться, ничего не нашли и снова погрузились туда же, откуда и выплыли, – видимо, до какого-то более благоприятного случая.

А случай представился скоро. Перелистывая как-то «Историю России» С. М. Соловьёва, я случайно обнаружил ещё одно народное сказание, но уже относящееся к эпохе Петра I (источники сказания – «Дела Преображенского приказа» за 17041705 гг.). Этот памятник устного народного творчества показался мне, в связи с приведённым выше, настолько интересным, что я вынужден снова прибегнуть к цитированию.

«Начались <...> неудовольствия на Петра за его нововведения <...> И при царе Алексее Михайловиче были сильные жалобы на отягощение народное <...> Но при этих жалобах <...> народ обыкновенно щадил особу царя, складывая всю вину на бояр. Сын царя Алексея

не пользовался этим преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в их землю, обрелся, оделся по-немецки, других заставлял делать то же <...> Недаром всё это! Народная фантазия стала работать над объяснением поразительного, страшного явления, и первое объяснение было высказано: “Немцы его обошли, испортили”. Но на этом не остановились, фантазия разыгрывалась всё больше и больше, являлся вопрос: прямой ли это царь, сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? В 1701 году князь Василий Сонцев был казнён за два разбоя, за два убийства и за непристойные слова, что царевна Софья называла Петра стрелецким сыном. Но вымысел отъявленного негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не объяснял того, что именно нужно было объяснить – почему Пётр полюбил все немецкое! Наконец народная фантазия создала объяснение: Пётр родился от немки и был подменен царице, родившей девочку. Объяснение пошло в ход с дополнением, что Пётр был сыном Лефорта. Бабы, стирая белье, толковали <...> какой-де он царь? Родился от немки беззаконной, он заменённый, и как царица Наталья Кирилловна стала отходить сего света, и в то число ему говорила: ты-де не сын мой. <...>

Но и на этом фантазия не остановилась. Царь ввел бородобритие и немецкое платье, царицу отослал, Монсову взял, стрельцов переказнил – всё по возвращении из-за границы, но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя, и прислали на Русь другого, своего немца же, чтоб обусурманить православных. Сначала, вероятно, на основании слухов о неприятностях в Риге, создалась следующая сказка: “Как государь и его ближние люди были за морем, и ходил он по немецким землям и был в Стекольном (Стокгольме), а в немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась <...> и <...> велела бросить его в темницу. И как та девица была именинница, и в то время князь её и бояре стали ей говорить: пожалуй, государыня, ради такого своего дни выпусти его государя, и она им сказала: подите посмотрите, буде он валяется, и для вашего прошенья выпущу. И князи и бояре, посмотря его государя, ей сказали: томен, государыня! и она им сказала: коли томен и вы его выньте, и они его, выняв, отпустили. И он пришел к нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку, набили в неё гвоздей и в тое бочку хотели его положить, и про то уведал стрелец и, прибежав к государю к постеле, говорил: царь государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится, и он государь встал и вышел, и тот стрелец на постелю лег на его место, и бояре пришли и того стрельца с постели схватя и положи в тое бочку, бросили в море”. Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром, и люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границею, а на его место явился немчин: “Это не наш государь, а немец; а наш царь в немцах в бочку закован да в море пущен”»⁵.

Дочитал я Соловьева до этого места и вдруг ясно понял, что никогда уже не смогу смотреть на пушкинские сказки как на произведения, предназначавшиеся поэтом исключительно для детей.

Глава 2

Загадки сюжета

Взятые по отдельности, фольклорные мотивы «зверюшки» и «бочки» – это не более чем подборный материал в творческой лаборатории А. С. Пушкина. Иное дело, если рассматривать их во взаимной связи – тогда они могли бы свидетельствовать о наличии в «Сказке о царе Салтане» некоего скрытого содержания, тесно связанного с фактами русской истории. А если так, то, значит, и начинать выявление этого скрытого содержания следует с попытки взглянуть на события русской истории начала и конца XVII в. как на нечто взаимообусловленное.

Но есть ли основания смотреть на них так? Что общего между двумя совершенно различными, чисто сказочными по своей форме народными преданиями, отделёнными к тому же друг от друга целым столетием? В рамки этого столетия вместились такое огромное количество судьбоносных для русского народа событий (Смута, Разинщина, Раскол, воссоединение Украины с Россией, стрелецкие и казацкие бунты), что само существование непрерывной связи между летучими слухами эпохи Бориса Годунова и эпохи Петра I должно представляться современному сознанию чем-то абсолютно невероятным и невозможным. И тем не менее, как это ни парадоксально, такая связь прослеживается. Причем прослеживается она с совершенно различных точек зрения: с народной, с научно-исторической, с собственно пушкинской и даже... с климатологической!

Последняя точка зрения обнаружила себя случайно, если вообще существуют случайности. Я уже давно заметил: стоит лишь заинтересоваться чем-либо всерьёз, как нужные материалы тут же сами ложатся под руку. Так и тут: раскрываю газету «Новый Петербург» за 13 августа 1998 г., а там – интервью заведующего кафедрой Российского гидрометеорологического университета профессора К. В. Кондратовича представителю газеты, как раз по интересующему меня вопросу. Цитирую: «В русской истории был такой период в XVII в., который <...> имел прямую связь с климатическими условиями. Он начался временем правления Бориса Годунова и закончился временем правления Петра I. Климатологи называют это время “малым ледниковым периодом”. В то столетие солнечная активность была на очень низком уровне, а 11-летние циклы отсутствовали совсем. И потому погода была ужасной: ранние морозные зимы, дождливые холодные лета. Урожай не вызревал, на полях стояла вода. Народ голодал и роптал, потому что связывал свои несчастья с грехами царей, ибо они считались божьими помазанниками».

«...Считались божьими помазанниками» – это уже о народной, то есть полуфольклорной точке зрения на историю. С этой точки зрения в фигурах сыновей Ирины Годуновой и Натальи Кирилловны Нарышкиной тоже обнаруживается поразительно много общего: и тот и другой носят имя «Пётр»; и тот и другой отмечены в истории клеймом «самозванства»; про первого рассказывали, будто на вопрос Годунова Ирина ответила брату, что родила девочку, и про второго – что царица Наталья родила девочку, подмененную позже мальчиком. Даже имя крестной матери Петра I – «Ирина» – совпадало с именем сестры Годунова, считавшейся в народе матерью Петра Медведьки⁶. А прозвище настоящей матери Петра I, Натальи Кирилловны, возглавлявшей при московском дворе «партию Нарышкиных», было – «Медведиха» или «Медведица»⁷. Правда, сам Пётр Медведька спустя сто лет как бы раздвоился: на законного царя Петра I и на помышлявшего о царской короне «расстригу Медведева». (О тайных замыслах монаха Сильвестра Медведева, приближённого царевны Софьи, известно из следственных актов, а также из рукописи «О новорасстриге Медведеве», хранившейся в бывшей Синодальной библиотеке под № 252. У другого же, ещё более вероятного кандидата в цари при

Софье – у князя Василия Голицына – имение под Москвой тоже называлось, как ни странно, Медведково⁸.)

Виден, впрочем, в раздвоении образа и менее виртуальный, хотя тоже парадоксальный, смысл: Пётр Медведька, являясь типичным порождением эпохи самозванцев, не вызывал в народе, судя по тексту «Сказания», сомнений в своем царском происхождении; Пётр I же, будучи законным царем, нередко имел дело с народным взглядом на себя как на самозванца. Природу этого парадокса хорошо понял В. О. Ключевский: «Сначала перед народом прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть; потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немца в государство, антихриста в церковь»⁹. То есть, по мысли В. О. Ключевского, общее впечатление, вынесенное народом из политических событий XVII столетия, было по преимуществу впечатлением о ненормальности происходящего. Это-то впечатление и должно было связать в народных глазах начало и конец XVII в. неким подобием смыслового единства.

Гораздо более нормальное, то есть закономерно объяснимое смысловое единство представляют собой начало и конец XVII в. в глазах самих историков: с их точки зрения, промежуток времени между относительно устойчивыми укладами Московской Руси и имперской России и не может рассматриваться иначе как целостность переходного характера. Еще важнее то, что всю эту целостность насквозь пронизывает и собственная внутренняя логика. Ведь, во-первых, петровские реформы явились лишь наиболее зрелым выражением политического курса, намеченного ещё Годуновым и продолженного всеми последовавшими затем самодержцами Романовыми. А во-вторых, далеко ещё не исследована та странная связь, которая существовала между главными конкурентами Бориса Годунова по борьбе за высшую власть боярами Романовыми и первым самозванцем – их бывшим дворовым человеком Григорием Отрепьевым. (Последний, по мнению некоторых историков, воспитывался Романовыми в убеждении законности своих царских прав, а придя к власти, вернул своих опальных покровителей из ссылки и назначил старшего из них, Филарета, ростовским митрополитом.) Еще меньше исследована связь Романовых со вторым самозванцем – с так называемым Тушинским вором, происхождение которого считается тёмным (кстати, О. М. Бодянский пытался отождествить его с героем «Сказания о Петре Медведьке»). Разумеется, начинать исследовать эту связь сегодня – дело почти безнадежное; за триста лет господства династии Романовых любые порочащие их сведения, если они и были, в принципе не могли сохраниться. Но тем не менее известно, что именно Тушинский вор провозгласил Филарета (Федора Никитича Романова) московским патриархом – при живом патриархе Гермогене – и что по обязательству именно Тушинского вора Петр I спустя почти столетие был вынужден уплатить полякам долг в 6000 золотых¹⁰.

Что же касается собственно пушкинской точки зрения на XVII в., то здесь нужно вспомнить, что предки А. С. Пушкина по мужской линии особенно громко заявили о себе в русской истории именно в начале и конце этого века. Как пишет сам поэт в автобиографических материалах и воспоминаниях, в «числе знатных родов <...> историограф именует и Пушкиных (под «историографом» подразумевается Н. М. Карамзин. – С. Г.). <...> Г. Г. Пушкин <...> принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи (самозванцев. – С. Г.). Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, <...> по словам Карамзина, один с Измайловым *сделал честно свое дело*. При избрании Романовых на царство четверо Пушкиных подписались под избирательную грамотою, а один из них, окольный, под соборным деянием об уничтожении местничества <...> При Петре <...> один из них, стольник Фёдор Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и казнён...»¹¹.

Столь яркая родословная, конечно же, не могла не вызывать в А. С. Пушкине обострённого сознания причастности к жизни страны на самом решающем изломе её истории. А общность судьбы собственных предков с судьбой русской самодержавной власти настраивала на образное восприятие самой этой власти в зримой художественной форме. И в этом смысле воображение поэта, несомненно, должно было захватываться ощущением некоей глубинной, почти мистической, связи между «Петром до Петра», в начале XVII столетия, и реальным Петром I – в конце. Ощущение это могло быть тем сильнее, что проект переноса русской столицы из Москвы на западную границу страны появился уже во времена Смуты.

Вот это-то ощущение неразрывного единства событий, начатых Смутой и завершённых петровской реформой, и получило, видимо, свое законченное выражение в сюжетной интриге «Сказки о царе Салтане». Во всяком случае, без учёта такого ощущения очень многое в сказке останется загадочным. Взять, к примеру, произносимые Гвидоном перед его выходом из бочки слова: «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?..» Сразу же вспоминается, что той же «оконной» метафорой отмечены у Пушкина и слова Петра I во вступлении к поэме «Медный всадник»: «Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно». Или такой пример: смысловой центр сказки после выхода Гвидона из «бочки» – это остров Буян. Но, во-первых, основание Петербурга и было заложено на острове («14-го царское величество изволил осматривать на взморье устья Невы острова, и усмотрел удобной остров к строению города <...> 24 мая на острове, которой ныне именуется Санкт-петербургской, царское величество повелел рубить лес и изволил обложить дворец»¹²). А во-вторых, значение имени «Буян» включает в себя, по словарю В. И. Даля, не только понятия «отваги», «удали», «дерзости», но и понятия «торговой площади», «базара», «рынка», «пристани как места погрузки и выгрузки товаров». В этом смысле и весь новоявленный Санкт-Петербург был, по сути своей, не чем иным как огромным единым Буяном. Самое же интересное: понимание Санкт-Петербурга как Буяна, оказывается, реально отразилось и в первоначальной островной топонимике города: «буянами», как известно, назывались многие мелкие острова в дельте Невы, и именно на них располагались первоначальные пристани и складские помещения для хранения товаров. Сейчас эти острова отошли частью к территории Петровского острова, а частью – к территории Петроградской стороны, Васильевского и некоторых других островов; но ещё в первой половине XX в. память о них бытовала в живом употреблении названий «Тучков буян», «Сельдяной буян» и т. д. В предпушкинские же времена понятие «остров Буян» существовало как повседневная санкт-петербургская реалья. Так, в труде самого первого историка города А. Богданова читаем: «Остров Буян, новопрозраванной, лежит на Малой Невке... А какой ради причины назван Буян, того знать нельзя.»¹³; «На Буяне острове построены были пеньковые амбары; оные ныне, в 1761 году июня 27 дня, сторели, и на место оных начинаются в 1762 году новые амбары строиться каменные»¹⁴.

Между прочим, и «остров», по Далю, это не только возвышение суши над водой, но и вообще нечто иное по отношению к окружающей среде (плодородное место среди бесплодного, оазис, небольшой отдельный лес посреди безлесных равнин и т. п.). А ведь именно такой *инаковостью* по отношению ко всей остальной России и является, как известно, Петербург на протяжении всей своей последующей истории. К тому же данный пример из словаря В. И. Даля максимально соответствует как раз допетербургской лексической почве: «островами» в окрестностях Петербурга задолго до его основания назывались (причем как на русском, так и на финском языках) урочища, неразрывно связанные с сушей. Например, в новгородских писцовых книгах XVI в. «острова» – это чаще всего просто деревни бассейна Невы, а от финской топонимии того же времени до сих пор сохранились такие (восходящие к финскому «саари» – «остров») названия, как Белоостров (Валкасари), Царское (Сарское) село и др.¹⁵.

Бросятся в глаза и некоторые другие совпадения деталей «Сказки о царе Салтане» с особенностями истории основания Петербурга. Так, при выходе Гвидона с матерью из бочки остров Буян описывается сказкой следующим образом: «Море синее кругом, Дуб зелёный над холмом». Спрашивается: откуда

здесь, в краю берёзы, ели и сосны, нехарактерный для данного климатического пояса дуб? Но оказывается, что «все острова, составляемые протоками Невы при её устьях, у новгородцев носили название “Фомени”, от испорченного финского слова “Tamminen” – “дубовый” <...> В старину в здешних лесах дуб составлял редкость; на петербургских же островах он встречался во множестве, о чём свидетельствуют ещё до сего времени растущие на Елагином и Каменном островах пятисотлетние огромные дубы...»¹⁶.

Или такая деталь, тоже относящаяся к моменту выхода князя с матерью из бочки: Гвидон убивает стрелой парящего в небе над Буяном коршуна. Эта деталь прямо соотносится с легендой об основании Петербурга. 16 мая 1703 г., при закладке памятного камня на острове, Пётр I вырезал из земли два куска дёрна, сложил их крестообразно и сказал: «Здесь быть городу». В это время в воздухе появился орел и стал парить над царём, соорудившим из двух длинных тонких берёз, связанных верхушками, нечто вроде арки. Парящий в небе орёл спустился с высоты и сел на эту арку, а один из солдат снял его выстрелом из ружья. «Пётр был очень рад этому, видя в нём доброе предзнаменование, перевязал у орла ноги платком, посадил себе на руку и, сев на яхту с орлом в руке, отплыл к Канцам; в этот день все чины были пожалованы столом, веселье продолжалось до двух часов ночи, при пушечной пальбе»¹⁷. Н. Анциферов так комментирует легенду: «Перед нами основатель города в понимании античной религии. Невольно вспоминается Ромул в момент основания Рима на Палатинском холме, когда 12 коршунов парило над его головою»¹⁸.

Ещё один пример. Уже наутро следующего дня на острове Буяне сам собой возникает город:

*Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!*

И эта деталь целиком соотносима с историей Петербурга, строившегося «с такой быстротой, что скоро все совершенно кишело людьми <...> местность необычайно быстро заселялась, и по числу домов и людей теперь едва ли уступит какому-либо германскому городу»¹⁹. А вот еще: в городе на острове Буяне «изоб нет, везде палаты». Как тут не вспомнить о строжайших указах Петра I, направленных на усиленное снабжение новой российской столицы строительным камнем. В анонимной брошюре, изданной в Германии в самом начале XVII в. под названием «Краткое описание большого императорского города Санкт-Петербурга», говорится, что «дома в городе прежде были деревянными <...> а теперь в большинстве своем каменные»²⁰. Или вот еще:

К ним народ навстречу валит,

*Хор церковный Бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают,
И царевича венчают
Княжеской шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы
В тот же день стал княжить он
И нарёкся: князь Гвидон.*

Тут уже просто неизбежна аналогия с заметками Пушкина к «Истории Петра Великого»: «Сенат и синод подносят ему (Петру I. – С. Г.) титул Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого. *Петр недолго церемонился и принял их*»²¹.

Наконец, и сама символика выхода из тесной и тёмной бочки на вольный простор острова Буяна тоже могла бы стать предметом самостоятельного (и далеко не простого) разговора, особенно в контексте известного высказывания Петра I: «Мы от тьмы к свету вышли...».

Глава 3

Действующие лица

Исторические и географические привязки сюжета – это первый смысловой контур сказки, проливающий свет на её возможную скрытую двуплановость. Второй контур – это ролевые функции некоторых персонажей сказки, в которых легко узнаются «визитки» главных европейских держав предпушкинской и пушкинской поры. В самом деле: Ткачиха – это, вне всякого сомнения, Англия, «ткацкая мастерская всего мира», каковой она обычно изображается во всех изданиях всемирной истории (достаточно напомнить, что первый прибывший в Санкт-Петербург английский торговый корабль был нагружен исключительно полотном). Повариха – это, опять же вне всякого сомнения, Франция, слышавшая в Европе XVII–XIX вв. законодательницей кулинарной моды и заповнившая «французскими поварами» (образ, известный и по русской классической литературе) весь цивилизованный мир того времени. А сватья баба Бабариха, конечно же, третья главная держава Европы XVII–XIX столетий – Священная Римская империя германской нации. Почему «сватья»? Потому что ядро империи – Австрийское владение Габсбургов – «соединилось в одно целое посредством ряда наследств и брачных договоров»²², а его история – это история «сцепления разных выморочных имений, отдаваемых в приданое»²³. Известен был даже посвященный этому «ядру» латинский стих, так звучащий в переводе на русский: «Пускай другие воюют; ты же, блаженная Австрия, заключай браки»²⁴. Да и выбор имени – «Бабариха» – был, несомненно, продиктован его очевидным звуковым сходством с названием Баварии – страны, положившей историческое начало всей данной политической кристаллизации (выделением из Баварии в 1156 г. была впервые образована как самостоятельное герцогство и сама Австрия). Хотя само по себе имя «Бабариха» восходит к русской фольклорной традиции – оно заимствовано Пушкиным из опубликованного в 1818 г. сборника Кирши Данилова.

Но если и эти аналогии верны, то и в оклеветанной избраннице царя Салтана придётся признать Россию – столь же законную родственницу западноевропейских держав, сколь и традиционную жертву их политики. «...Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна», – замечает в своих исторических заметках А. С. Пушкин²⁵, а профессиональный дипломат Ф. И. Тютчев подводит под эту пушкинскую мысль множество интереснейших наблюдений (в том числе и в стихотворной форме). Впрочем, говоря о странной предвзятости и о не менее странном «двойном счете», который обычно демонстрирует Европа в отношении России, я меньше всего хотел бы быть понят здесь в том смысле, что способность постоянно оказываться жертвой чужих интриг – это возвышающее Россию достоинство. Нет, конечно; скорее речь должна идти о некоей печальной, характеризующей нашу страну, эмпирической данности. Но тем важнее понять – с помощью Пушкина – её историческую суть: является ли эта данность извечной особенностью России, или же её *неблагоприобретенным* качеством?

В сказке, между прочим, достаточно ясно показано, что жертвой чужих интриг царица Мать является вовсе не изначально.

Глава 4

Финансы и романсы

Любые аналогии сомнительны, если не поддаются экспериментальной проверке. Поддаются же ей лишь аналогии, проводимые между достаточно сложными смысловыми структурами, поскольку лишь при таком условии сравнение структур будет сопровождаться эффектом нарастания совпадений или несовпадений (данный эффект и является критерием проверки). А сюжетную структуру «Сказки о царе Салтане», как и реальную историческую структуру русско-европейских отношений конца XVII – начала XVIII в., можно считать достаточно сложными, чтобы их сравнение могло безоговорочно убедить нас в случайности или, наоборот, неслучайности сходства между ними. И с этой точки зрения чрезвычайно многообещающе выглядит та сюжетная линия сказки, где Гвидон, принимая облики комара, мухи и шмеля, посещает заморье с его обитателями – Ткачихой, Поварихой и сватьей бабой Бабарихой.

Совершенно очевидно, что здесь напрашивается аналогия с неоднократными заграничными путешествиями Петра I: в Германию, Голландию, Англию и Австрию – во время Великого посольства 1697–1698 гг., и в Голландию и Францию – в 1717 г. Оправдывается аналогия прежде всего манерой поведения Петра I во время этих путешествий – его постоянным стремлением *умалиться* (в первом путешествии он вообще присутствовал в посольстве инкогнито – под именем урядника Петра Михайлова, а во втором, хотя уже и не скрывал своего имени и достоинства, но тоже поражал европейцев равнодушием к роскоши и церемониалу). С другой стороны, бросается в глаза нарушение последовательности путешествий в их пушкинской интерпретации, так как в сказке первый полёт (комара) соотнесен адресно с Поварихой, второй полёт (мухи) – с Ткачихой, и третий (шмеля) – с Бабарихой. Но допустим, что у сказки – свои законы жанра, не совместимые с буквализмом исторической хронологии. Да и глубинная суть исторических событий едва ли может быть адекватно отражена протокольной формой их описания. Поэтому попробуем сосредоточить внимание не на внешней канве нашей аналогии, а на её глубинной сути.

Суть же эта должна, по-видимому, заключаться в том, что каждый из оппонентов Гвидона реагирует на весть о «чудном острове» в полном соответствии со своей специфической ролью в политическом раскладе Европы начала XVIII в. Как говорится, «у кого что болит, тот о том и говорит». Что «болит», скажем, у Поварихи-Франции? Известно, что самым актуальным вопросом для этого королевства в начале XVIII в. был финансовый: экономика страны, ожившая после недавнего глубокого кризиса под воздействием только что проведённой денежной реформы, переживала так называемое «экономическое чудо». Правда, оно длилось недолго: уже в 1720 г. страна, злоупотребившая эмиссией бумажных денег, снова вошла в полосу жестокого кризиса. Но в 1717 г., когда её посетил Пётр I, до этого было ещё далеко; расплатившаяся с внешним долгом Франция чувствовала себя «на коне» и даже считала себя вправе «учить жить» других. Есть данные, что именно в бытность Петра во Франции ему был представлен проект «поголовщины» с простого народа и «десятины» (подходного налога) с высших классов. «Все эти советы были приняты русским правительством. Петр с весны 1717 г. усвоил себе идею “поголовщины”»²⁶.

Но ведь и образ белки, грызущей чудесные орешки («Всё скорлупки золотые, Ядра – чистый изумруд») и тем самым приносящей «князю прибыль», обнаруживает слишком уж явное отношение к финансово-экономической проблематике. Поэтому заявление Поварихи, что настоящим чудом следует считать не какой-то там новый город на никому не ведомом острове, а лишь волшебную белку, способную приносить её владельцу сказочный доход, в переводе на обычный язык должно быть понято так: «Подумаешь, русская крепость в каком-то там

глухом углу Балтики! Разве можно серьёзно воспринимать случайный военный успех варварской, абсолютно безграмотной в вопросах современной финансовой политики страны, не знающей, чем и как обеспечивается реальное могущество государства? Вот когда она научится чему-нибудь в этой сфере хозяйствования – тогда и мы признаем её успехи за чудо».

Ответом Гвидона на вызов Поварихи явилась, как мы знаем, кардинальная перестройка налоговой системы страны. «Новый оклад подушной (и оброчной) подати с огромным излишком заменил все старые оклады прямых податей – табельных, погодных и запросных. Все они вместе составляли около 1,8 миллиона рублей, тогда как подушная (и оброчная) подать давала 4,6 миллиона; общий же итог государственных доходов по окладу поднялся с 6 до 8,5 миллионов. Почти теми же цифрами выразалось и увеличение текущих годовых поступлений. Такая прибавка к старым доходам развязала руки правительству для более правильного обеспечения главных государственных расходов»²⁷.

Доказательством того, что речь в данном случае идёт именно о налоговой реформе Петра I, служат слова напеваемой белкой песенки: «Во саду ли, в огороде». Но правильное понимание скрытого смысла этих слов невозможно без знания истории налогообложения на Руси, а также без знания связанной с этой историей терминологии. Дело в том, что изначально прямая подать на Руси платилась с пахотной земли. Но для облегчения платежей тяглецы нередко сокращали запашку; поэтому в XVII в. подать стали брать со «двора» (то есть с податной единицы, означающей «хозяйство»), почему она и стала называться «подворной». Однако и здесь обнаружилась лазейка для сокращения платежей путем сведения в один «двор» нескольких хозяйств (с такой ситуацией столкнулся во время шведской войны Петр I, когда перепись населения показала сокращение количества дворов при увеличении количества тяглецов). Для борьбы со злоупотреблениями и была предпринята замена «подворной» подати на «подушную» («поголовную»), – по образцу и рекомендациям более «продвинутых» в этом отношении западноевропейских стран. Это – первое, что нужно знать: как бы ни менялось историческое название основной государственной подати на Руси и как бы превратно ни толковался иными специалистами её смысл, она всегда оставалась по своей сути не чем иным, как податью на обрабатываемую землю – на «пашню».

Второе, что нужно знать: место под «двор», то есть под пашенное хозяйство, называлось «усад» («усада», «усадыба», «усадище», «усадбище») и отводилось только несущим государственное тягло; нетяглым людям, каковыми были холопы, «усад» не полагался («Бестягольным усладу не дается»²⁸). Тяглец, то есть крестьянин на полном усале и тягле, назывался «садак», а тот, кто «сажал» его на землю, селил на ней – «садчик»²⁹. Таким образом, корневой смысл всей этой группы родственных слов нужно связывать не с идеей «сада» как участка с плодовыми деревьями и кустами, а с идеей «сажания» на данный участок земли того, кто должен в дальнейшем его обрабатывать.

Третье, что нужно знать: под «огород» обычно отводился тот минимум земли, который не имел значения «пахотного» и который мог поэтому использоваться под участок для выращивания овощей. Бестягольные холопы могли владеть только лишь такими участками земли.

Наконец, четвёртое: главным юридическим следствием проведённой Петром I замены подворной подати на подушную явилось уравнивание в правах тяглых крестьян, которые обрабатывали «усад», и нетяглых холопов, обрабатывавших «огород», что выразимо формулой: **независимо от того, усад у тебя или огород, ты теперь обязан заплатить установленный размер новой подати.**

Эта-то формула и могла послужить А. С. Пушкину поводом для иносказательного выражения сути петровской налоговой реформы словами известной народной песни: «Во саду ли, в огороде». Неизвестно, был он знаком или нет с документами петровской Руси, проливающими свет на юридическую разницу между «пашней» («усадом») и «огородом». Но народную

лексику, связанную с правилами землепользования и с вытекающим из них различием в социальном положении землепользователей, он, вне всякого сомнения, знал (как знали её и другие поэты, младшие современники Пушкина³⁰). Кроме того, ему могло быть известно встречающееся в русском фольклоре противопоставление «садового» персонажа «огородному» как имущего – неимущему³¹. А уж языкового чутья и умения играть словами А. С. Пушкину было не занимать.

Глава 5 Хрустальный дом

*Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом.
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счёт орехам весть.
Князю – прибыль, белке – честь.*

Если принять во внимание, что «дьяк» – это древнерусское терминологическое обозначение государственного чиновника, то едва ли придется усомниться, о каком «доме» здесь идет речь. Финансовая реформа, предполагавшая перестройку всего правительственного аппарата, вызвала к жизни, в частности, появление такого небывалого прежде на Руси государственного учреждения, как Сенат с двенадцатью коллегиями. Насколько прочно было связано его возникновение с экономической ситуацией в стране, показывает уже тот факт, что за месяц до учреждения Сената (указом 22 февраля 1711 г.) вышло повеление о сличении государственных доходов с расходами. Кстати, сразу же выявился дефицит, почему в указе 2 марта об окончательном учреждении Сената было сказано: «Смотреть во всём государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные, отставить. Денег как можно собирать, понеже деньги суть артерии войны...»³². Всё это становилось отныне прямой функцией Сената, задуманного Петром как учреждение, осуществляющее высший надзор за расходами, заботу об умножении доходов, об улучшении качества казенных товаров, о векселях и торговле и т. д.

Конечно, одними экономическими соображениями замыслы Петра в отношении этого органа управления не исчерпывались; известно, в частности, что он надеялся сделать Сенат верховным истолкователем и проводником государственной идеи, руководителем политического сознания народа³³. Но всё же экономические соображения были, в силу остроты финансовых проблем, наиболее насущными.

Между прочим, у Пушкина не случайно сказано, что хрустальный дом для белочки был выстроен *потом*. Самый первый Сенат размещался, как известно, в здании перестроенного казенного приказа в Москве, изредка выезжая по требованию Петра в Петербург и Нарву, а окончательное перемещение его в столицу состоялось лишь в конце 1713 г. Здесь он довольно долго не имел постоянной прописки; сначала ему был отведён деревянный дом в Петропавловской крепости (на этом месте сегодня стоит Петропавловский собор), а затем, в 1714 г., – мазанковое здание, известное под названием «коллегии», на Троицкой площади. В 1722 (или в 1724) г. был заложен фундамент нового дома для 12 коллегий «с аудиенциею и сенатом» на Васильевском острове (нынешнее здание университета, где до сих пор сохраняется Петровский зал). Но в этом здании заседания Сената начались лишь в 1732 г., а незадолго до того, по указу Петра II от 1727 г., он переместился на время с Троицкой площади в конфискованные дома Меньшикова и некоторых других опальных сановников на Васильевском острове. Однако здание 12 коллегий не было единственной резиденцией Сената: еще при Анне и Елизавете он занимал, помимо этого здания, временную «квартиру» на Адмиралтейской стороне. С 1763 г. временная прописка становится постоянной – во дворце Бестужева, который был взят указом Петра III «под сенат». Здесь правительство располагалось до 1829 г., то есть до высочайшего утверждения проекта К. Росси (по этому проекту были созданы нынешние здания Сената и Синода). Тем не менее основной резиденцией Сената продолжало оставаться заложенное еще

при Петре I здание 12 коллегий на Васильевском острове. В 1806 г. здесь размещался архив сената, а в 1819 году продолжали работать восемь из двенадцати коллегий. Лишь в 1835 г. здание перешло в ведение университета. Но с 1829 по 1835 г. оно, в связи с архитектурными работами Росси на Адмиралтейской стороне, было единственным адресом Сената.

Интересная деталь: открытая аркада вдоль фасада этого здания была остеклена – по одним данным, при Екатерине II, а по другим – при Николае I. Не это ли, необычное для того времени, архитектурное решение дало повод Пушкину назвать «дом для белки» хрустальным? А может быть, здесь нашел свое первое олитературенное воплощение известный фольклорный штамп, наделенный новым уже смыслом «символа прогресса» (см., например, высказывания русских писателей XIX в. о Всемирной лондонской промышленной выставке, социально-утопические фантазии Н. Г. Чернышевского и т. п.). Хотя, скорее всего, речь идёт об указе Петра от 1715 г., согласно которому в Петербурге были заведены хрустальная и стеклянная фабрика³⁴. Как символ новых российских технологий это заведение вполне могло вдохновить творческое воображение Пушкина на создание образа «хрустального дома».

Глава 6

Белка под ёлкой

Должен признаться, что ни один образ «Сказки о царе Салтане» не заставил меня промучиться над его разгадкой так, как образ «белки под ёлкой». Причём вовсе не потому, что здесь ничего нельзя было *просто придумать*. Как раз наоборот: всевозможные остроумные интерпретации смысла этого образа напрашивались в огромном количестве уже лишь потому, что и «белка», и «ель» входили в широко распространенную в XVIII в. международную систему условных обозначений. Они были включены в «Каталог эмблем и символов», переведённый в начале века с амстердамского издания на русский язык и напечатанный в 1719 г. в Санкт-Петербурге. В этой богато иллюстрированной черно-белыми гравюрами книге напротив изображения грызущей орех белки стоит надпись «Внутри сокрыто. Без труда не получишь», а напротив изображения ели с шишками – «Всегда есть созрелый плод».

Проблема, однако, заключалась не в том, чтобы *вчитать* в сказку ту или иную правдоподобную её интерпретацию, а, наоборот, в том, чтобы доказательно *вычитать* из неё её собственную (точнее – пушкинскую) скрытую мысль. Но вторая цель заведомо переставала быть достижимой на пути отвлеченно головной «игры в символы», никак не связанные друг с другом. Интуиция подсказывала мне, что поверхностными аналогиями (вроде той, что усматривает в грызущей орех белке символ взятия крепости Нотебург-Орешек) здесь не обойтись. Похоже было, что и «белка», и «ель» использовались Пушкиным лишь как исходные *буквы алфавита* для создания какого-то иного, наделённого гораздо более содержательным смыслом, текста.

К этому тексту нужно было найти ключ. И прежде всего на ум пришёл, конечно же, соблазн понять «белку» – этого хлопотливого и запасливого зверька – как символ модной во времена Петра I теории «меркантилизма», или «национальной экономики». Данная теория включала в себя, во-первых, требование развития в стране собственной крупной промышленности и поиска внешних рынков для сбыта её продукции, а во-вторых, запрет на экспорт сырья и на импорт тех иностранных промышленных товаров, которые можно было произвести в своей стране³⁵. Но тут я, к своему большому удивлению, обнаружил, что и в системе русских народных воззрений (в пословицах и поговорках), и в литературе XVIII в. (в баснях о животных) настойчиво проводится точка зрения на белку не как на олицетворение трудолюбия и бережливости, а как на символ бессмысленной суетливости («Работает, что белка в колесе, суетливо и без пользы»).

Загадочной оказалась и «ель»; здесь тупиковых направлений мысли оказалось особенно много. Казалось бы, слова сказки «Ель растёт перед дворцом, А под ней хрустальный дом» позволяли увидеть в этом вечнозелёном дереве либо какую-то всем хорошо известную городскую дендропримечательность того времени, либо её имитацию, вроде пирамидального («елеобразного») триумфального сооружения, стоявшего при Петре I на Троицкой площади перед зданием первого Сената («коллегий»). Но, согласно черновому варианту того же места сказки, дом находился не под елью, а над ней. А это выводило уже на совершенно иные круги ассоциаций.

Какие только версии я ни «прокручивал»: изучал язык аллегорий XVIII в. по соответствующим описаниям фейерверков и иллюминаций, а также по сюжетам барельефов, украшавших залу общего собрания Правительствующего Сената в XVIII в.; прослеживал топонимику раннего Петербурга по доступным мне изданиям первоисточников и т. п. Когда уже начала исчезать последняя надежда на разрешение загадки, я обратил внимание на следующие строки сказки: «Белка в нём (то есть в доме. – С. Г.) живет ручная» и «Князю – прибыль, белке –

честь». Не шла ли тут речь о конкретном лице? Я погрузился в изучение дворянских гербов того времени, надеясь отыскать в каком-либо из них изображение белки или ели. И Бог знает, сколько бы я этим занимался, если бы меня не осенила ещё одна догадка: не имеет ли здесь место игра слов, построенная на ассоциации с именем искомого лица? А если так, то не является ли этим искомым лицом Генрих фон Фик, уроженец Гамбурга, один из видных сотрудников Петра I, поступивший на русскую службу в 1715 г.? В. О. Ключевский пишет о Фике, что он подвернулся Петру под руку как раз в тот момент, когда перестройка органов управления в связи с нехваткой финансов стала сверхактуальной, и что Фик принял в этой перестройке самое деятельное участие (считаясь специалистом по лучшим в ту пору во всей Европе шведским коллегиям, он даже был командирован в Швецию для изучения их работы на месте). Между прочим, Фику принадлежала идея о завершении коллегияльной реформы созданием стоявшего над Сенатом Высокого тайного совета, каковой, под названием Верховного, и был после смерти Петра I создан Екатериной I. Анна Иоанновна уничтожила этот совет, а Фика разжаловала и сослала. Но при Елизавете Фик был возвращен из ссылки и умер в 1750 г. в чести.

Имя «Фик» явно ассоциируется и с немецким «Fihte» (ель), и с немецким «Feh» (беличья шкурка, беличий мех), и с немецким же «Fix» (проворный, ловкий). Но всё же чувствовалась в этих ассоциациях если не натяжка, то случайность. Слишком уж мелка, при всей её сверхтипичности, фигура Фика, чтобы играть ключевую роль в системе символических образов пушкинской сказки. Да и не имел Генрих фон Фик прямого отношения к собственно денежным делам страны. Скорее уж тут были бы уместны ведущие экономисты той эпохи, советники Петра I по финансовым вопросам (иноземные или отечественные, вроде А. Курбатова). А с учётом и их «мелковатости», ещё уместнее здесь выглядели бы уже не отдельно взятые личности, а само экономическое правительство Петра I (Большая казна, переименованная в начале XVIII в. в Камер-коллегию). Но что такое «экономическое правительство», как не «принцип его функционирования»? А принцип этот был, как уже говорилось выше, *меркантилистский*, что заставило меня вернуться к данной теории и практике снова, но уже всерьёз.

Меркантилизм начала XVIII в. – это такая экономическая политика, которую характеризует активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны. Вмешательство выражается в опеке над национальной экономикой, отсюда – «Слуги белку берегут, Служат ей прислугой разной». А опека подкрепляется всей военной мощью государства, отсюда – «Отдаёт ей войско честь». Но для полноценной опеки нужны развязанные в материальном отношении руки; вот почему в меркантилизме такое внимание уделяется вопросам упорядочения подушной подати, то есть увеличения количества и качества «белкиных орешков». С другой стороны, меркантилисты уже знают, что национальное богатство страны выразимо не только в деньгах, но и в подлежащих обмену на деньги продуктах производства; вот почему «орешки» состоят не только из «золотых скорлупок», но и из «изумрудных ядер». В отличие от ранних меркантилистов XVI – первой половины XVII в., поздние меркантилисты уже не запрещают вывоз из страны золотой и серебряной валюты, поэтому «Из скорлупок льют монету, Да пускают в ход по свету». А взгляд поздних меркантилистов на прибыль как на запас продуктов, который остаётся после удовлетворения внутренних потребностей страны и который должен затем на внешнем рынке превратиться в деньги, объясняет особенно бережное отношение белки к изумрудам: «Девки сыплют изумруд В кладовую, да под спуд»; «Изумрудец вынимает И в мешочек опускает...».

Получившаяся цепочка совпадений не могла не обнадежить, и я вознамерился уже – по накатанной «меркантилистской» дорожке – с той же лёгкостью расшифровать и «ель». Но не тут-то было. Единственный образ ели, подходящий к данной ситуации и затмевающий собою все остальные её образы, имел отношение не к экономической деятельности Петра I, а к его календарной реформе, то есть был связан с приурочением начала нового года к Рождеству Христову (как известно, новогодняя, или рождественская, ёлка появилась у нас именно вслед-

ствие такого приурочения). Правда, намёк на необходимый символизм можно было уловить и здесь – если рассматривать «ель» не просто как элемент нового быта, но как символ нового порядка летосчисления. Ведь реформа календаря выразилась не только в сдвиге отсчета нового года с 1 сентября на 1 января, но и в сдвиге всего летосчисления с так называемого Сотворения мира на Рождество Христово. А в этом случае и «белку под ёлкой» можно было бы понять уже как символ нового (западного) образа хозяйствования под сенью нового (западного же) отсчёта времени.

Такое истолкование образа хотя и мало удовлетворило меня, но по крайней мере уже не выглядело слишком большой натяжкой. Тем не менее и оно оказалось не последним: заглянув для очистки совести в словарь В. И. Даля, я обнаружил там ещё один относящийся к «ели» и крайне интересный для меня смысловой контекст. Он основывался, как ни странно, на отождествлении ели с кабаком и выражался в ряде пословиц и поговорок: «Идти под ёлку» (то есть в кабак); «Ёлка (кабак) чище метлы дом подметёт»; «Ёлка зелена – бурлак денежку добудет» (на выпивку). Неужели же А. С. Пушкин имел здесь в виду столь знакомый нам «пьяный бюджет»?

Смысл отождествления ели с кабаком раскрылся мне при перечитывании пушкинской «Истории села Горюхина»: там описано центральное общественное здание села – питейное заведение, «украшенное ёлкою и изображением двуглавого орла». Естественно, я тут же вспомнил, что село Горюхино упоминается Пушкиным и в связи с «Повестями Белкина» (написанными почти одновременно со «Сказкой о царе Салтане»). И как оказалось, вспомнил не зря. Внимательно прочитав предисловие к этим повестям, я обнаружил там не больше не меньше как модель макроэкономики в миниатюре: благонамеренный, но несколько наивный помещик **Белкин**, вследствие проведённой им «экономической реформы» получает оброк с горюхинцев... **орехами!**

Допускаю, что образы «Сказки о царе Салтане» изначально задумывались Пушкиным как многозначные и даже многовариантные. При этом ничуть не настаиваю на своих догадках как на единственно возможных и исчерпывающе верных; считаю, что образ «белки под елкой» остаётся открытым и для более глубоких, чем мои, интерпретаций. А оснований так считать – более чем достаточно. Дело в том, что самый предмет политической экономии Пушкин осваивал ещё в Лицее, в течение двух последних лет учебы в нём. В послелицейские годы он находился в теснейших отношениях с автором книги «Опыт теории налогов» Н. И. Тургеневым³⁶, а позднее делал замечания на книгу своего друга-декабриста М. Ф. Орлова «О государственном кредите». Критический взгляд на историю экономической мысли (меркантилисты – физиократы – смитианцы) он мог усвоить из трудов популярного в то время в России экономиста, историка и литературного критика Сисмонди (идеи которого были, по-видимому, особенно созвучны пушкинскому умонастроению). Даже в чисто литературной сфере он мог соприкасаться с такими, достаточно специальными, областями экономического знания, как, скажем, вопросы биржевой политики (у Байрона) или конкуренции (у В. Ф. Одоевского). А многочисленные свидетельства интереса Пушкина к экономическим проблемам, как и доказательства его относительной компетентности в них, даёт его собственный журнал «Современник». Да и вообще тема «Пушкин и экономика» давно уже превратилась из экзотической в модную; взять хотя бы обзорный материал по ней в интересной работе А. В. Аникина «Муза и маммона»³⁷.

Глава 7

Черномор и его команда

По аналогии со всем изложенным выше, сказочные подробности второго полёта Гвидона за море в образе мухи следует интерпретировать как высвечивание внутренней сущности Ткачихи. Напоминаю, что каждый из оппонентов Гвидона реагирует на рассказ корабельщиков о «чудном острове» в полном соответствии со своей специфической ролью в политическом раскладе Европы начала XVIII в., по принципу «у кого что болит, тот о том и говорит». А что может *болеть* у Ткачихи-Англии? Вопрос явно риторический; у Англии начала XVIII в. имелось только одно больное место – опасение, что кто-то может оспорить её статус «владычицы морей». Соответственно, «пунктик» Ткачихи, её, так сказать, «идея фикс» – это морской флот, с которым, видимо, и следует ассоциировать сказочный образ тридцати трёх богатырей. Но поэтому и заявление Ткачихи, что настоящим чудом следует считать не какой-то там новый город на никому не ведомом острове, а только лишь военную стражу, обитающую в море и охраняющую сушу, в переводе на обычный язык надо понимать так: «Подумаешь, русская крепость в каком-то там глухом углу Балтики! Разве можно серьезно воспринимать случайный военный успех варварской страны, не имеющей собственного морского флота? Вот когда она его заведёт – тогда и можно будет говорить о чуде».

Реакция Гвидона на эти слова известна: на рейде Буяна появляется морская стража из тридцати трех богатырей с дядькой Черномором во главе. Едва ли нужно здесь давать подробную историческую расшифровку этой реакции – она хрестоматийна, о ней можно узнать в любом учебнике, имеющем раздел о петровской эпохе. Для моей темы гораздо важнее ответить на вопросы: 1) какая именно конкретная личность скрывается под маской дядьки Черномора и 2) какой смысл вложен Пушкиным в число «33», то есть имеет ли оно под собой историко-фактологическую базу, или же наделено чисто фольклорной символикой (образ тридцати трех богатырей известен как мотив свадебной обрядности в русской народной песне³⁸)?

Первый вопрос не очень труден; под дядькой Черномором (имя которого взято Пушкиным из карамзинской стихотворной сказки «Илья Муромец») скрывается, конечно же, Фёдор Матвеевич Апраксин, генерал-адмирал русского флота, знаменитый сподвижник Петра I (1671–1728). «Черномором» он назван потому, что был главным распорядителем и надзирателем работ по созданию первого русского, так называемого черноморского флота в Воронеже и Азове. А «дядькой» – потому, что этот термин официально означал в допетровской и петровской Руси должность «опекуна» (например, дядькой самого Петра I был в своё время князь Борис Александрович Голицын). Таким вот дядькой, воспитателем-опекуном русского морского офицерства и был Ф. М. Апраксин – человек, который, по отзывам современников, не только не имел завистников (несмотря на постоянное расположение к себе государя), но, наоборот, пользовался всеобщим уважением.

Гораздо сложнее вопрос о количестве кораблей, построенных в России при Петре I. Общеизвестные факты таковы: к концу царствования Петра флот насчитывал 48 линейных кораблей и 800 мелких судов (С. М. Соловьёв; те же данные – у В. О. Ключевского). По более специальным данным, после смерти Петра на Балтийском флоте, на воде и на стапелях было до 40 линейных кораблей, до 10 фрегатов и до 100 галер³⁹. Расхождение данных (сорок восемь у Соловьёва и Ключевского против сорока у Веселаго) говорит о том, что Соловьёв, а вслед за ним и Ключевский, скорее всего не различали линейных кораблей и фрегатов. Но 40 кораблей – это всё равно намного больше, чем 33. С другой стороны, в сказке, конечно же, описывается ситуация не «после Гвидона», а «при нём», то есть некий «парад сил» вроде того, что в реальной истории русского флота состоялся на Котлинском рейде в 1723 г. по случаю

чествования «дедушки русского флота» – ботика Петра I. На этом рейде, по данным Веселаго, присутствовало 20 линейных кораблей; но это был далеко не весь флот, потому что остальные корабли находились на своих местах базирования в Риге, Ревеле и других пунктах приписки. Сколько же было остальных? Это можно выяснить, исходя из данных Веселаго за 1721 г.: «К наступающей весне 1721 года у Котлина и в Ревеле поспешно вооружался флот из 27 кораблей, 12 фрегатов и мелких судов и 3 бомбардирских корабля, а галерный флот, в числе которого одних галер было более 170, готовился к новому походу в стокгольмские шхеры»⁴⁰. То есть если считать, что в 1721 г. было 27 кораблей, а в 1725-м – 40, то это означает, что в год со стапелей сходило приблизительно по 3 корабля и что число «33» при таком способе расчётов падает как раз на «парадный» 1723 г.

Конечно, это чисто теоретическая выкладка, которой нельзя особенно доверять (тем более что, согласно словарю Брокгауза – Ефрона, весной 1723 г. Апраксин принял начальство над 24 линейными кораблями Балтийского флота). Поэтому обратимся к другим источникам. По сведениям британского посла в Петербурге Джемса Джеффриса, в 1719 г. в Балтийском флоте насчитывалось уже 27 или 28 линейных кораблей, а на верфях строили ещё 10 и 7 из них готовились к спуску на воду весной 1720 года. «Проживи царь ещё три года, – писал Джеффрис лорду Стенгопу, – и у него будет флот в 40 линейных кораблей, от 70 до 90 пушек каждый...»⁴¹. Сведения, конечно, явно завышены: они свидетельствуют о панике, овладевшей Ткачихой. Более близкие к истине данные – у французского посла в Стокгольме Кампредона: «... в июне и июле 1723 года <...> в Петербурге, у Котлина и в Ревеле стоят в полном снаряжении не менее 22 линейных кораблей, 8 фрегатов, немало брандеров и бомбардирских кораблей и 70 галер»⁴². Близко тому и донесение из Санкт-Петербурга нидерландского посла де Вильде от 15 марта 1723 г.: «Флот, который вооружают здесь в настоящее время, состоит из 24-х линейных кораблей и нескольких фрегатов, находящихся в Кроншлоте, 6-и кораблей, стоящих в Ревеле, и 60-и галер <...> На здешних стапелях снова заложено несколько линейных кораблей и других судов меньшей величины. Весной надеются даже одно или два из них спустить на воду, и его Императорское Величество сам будет заниматься работами по одному 100-пушечному кораблю, киль которого скоро будет положен.»⁴³.

Из дальнейших донесений де Вильде следует, что к лету 1723 г. ещё два корабля, действительно, были спущены на воду (что довело их общее количество до 32-х). Но вообще-то расчёты, основанные на изучении дипломатических донесений и других тому подобных материалов, недостаточно надёжны, потому что не исключают накладок. Например, об одном из двух вышеупомянутых де Вильде кораблей известно, что «он был возобновлён в большей части своего корпуса», то есть не был новым. В разных документах встречаются корабли, числящиеся то линейными, то фрегатами. Не всегда бывает ясно из названий кораблей, один это корабль или несколько («Пантелей» – «Пантелеймон» – «Пантелеймон-Виктория» – «Виктория»; «Св. Михаил» – «Архангел Михаил»). Бывает и так, что про один и тот же корабль в служебной переписке 1723 г. может быть сказано, что его «велено разломать», а по документам 1724 г. он вдруг обозначается как находящийся на плаву («Рафаил»).

Наименее противоречивую картину даёт, по-видимому, «Список военных судов, готовых к кампании 1723 года», хранящийся в Главном морском архиве (Дела адмиралт. коллегии 1723 г. № 18). Согласно этому Списку, число линейных кораблей «при Кроншлоте и при Ревеле» было 27 (21 + 6), а фрегатов -9 (4 + 5)⁴⁴. Здесь же подробно перечислено пушечное вооружение каждого корабля, из чего следует вывод, что поскольку некоторые фрегаты по своему оснащению не только не уступали некоторым же линейным кораблям, но иногда и превосходили их, то как боевые единицы они вполне могли быть приравнены к ним. Итого получается 35 военных кораблей.

Привожу алфавитный перечень этой «команды»: «Армонт», «Арондель», «Астрахань», «Св. Александр», «Св. Андрей», «Британия», «Вахмейстр», «Выборг», «Гангут», «Девоншир», «Св. Екатерина», «Принц Евгений», «Ингерманланд», «Исаак-Виктория», «Карлс-Кронвапен», «Лесное», «Лаферм», «Марльбург», «Михаил Архангел», «Москва», «Нептун», «Св. Николай», «Норд-Адлер», «Св. Пётр», «Пантелеймон-Виктория», «Перл», «Полтава», «Рандольф», «Ревель», «Стор-Феникс», «Страфорд», «Фридрихштат», «Фридмакер», «Шлис-сельбург», «Эсперанс».

Разумеется, с точки зрения моих разысканий данный перечень не мог не разочаровать. Но оставалась надежда на то, что пушкинское число «33» является отражением каких-то документально-значимых сведений, относящихся к периоду *до 1723 г.* И действительно, такие сведения нашлись, наконец, в труде А. Богданова «Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию Санкт-Петербурга с 1751 по 1762 гг.». Этот труд был обнаружен в XIX в. в Новгородской семинарской библиотеке, по наводке «Словаря светских писателей» митрополита Евгения Болховитинова, и издан в 1903 г. в Москве⁴⁵.

Раскрыв эту книгу, я сразу понял, что сам Пушкин никогда никакой арифметикой не занимался – он просто воспользовался её данными, а точнее, её третьей части, называвшейся «Строение кораблей в Санкт-Петербурге». В этой части приводилась подробная «Роспись кораблям тем, которые от Его Величества отправлены были в кампанию в море в 1721 году». Кораблей там было перечислено ровно 33 (27 линейных и 6 фрегатов), причём названия их в значительной мере совпадали с названиями Списка 1723 г. Были, конечно, и расхождения. Но меня они уже не интересовали. Очевидным стало главное: цифра «33» имела, оказывается, под собой строгое историко-фактологическое обоснование. В этом я увидел ещё одно доказательство того, что символика в её отвлечённом, абстрактном виде была не во вкусе Пушкина.

Но и на этом разыскания не кончились. В 2004 г. мне довелось ознакомиться с книгой «Дважды Краснознамённый Балтийский флот: к 300-летию со дня создания»⁴⁶. Здесь содержалась дополнительная информация по истории русского флота начала XVIII в.: «В первые годы существования Балтийского флота штатного положения о числе кораблей не существовало. 14 октября 1715 года для Балтийского флота было утверждено штатное положение, согласно которому полагалось иметь 27 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шняв и 3 бомбардирских корабля. В галерном флоте было определено иметь 120 галер, в том числе 9 больших»⁴⁷.

27 линейных кораблей и 6 фрегатов снова дали число «33». Но теперь уже становилось ясно, что это «фольклорное» число возникло не стихийно, а было запланировано Петром I ещё в 1715 г. – за шесть лет до «Росписи 1721 года»!

Глава 8

Гвидон кусается

Реакция Гвидона на выпады Поварихи и Ткачихи выразилась, как известно, не только в том, что он своими делами доказал их несостоятельность, но и в том, что он больно наказал «тёток»: Повариху лишил правого глаза, а Ткачиху – левого. Попробуем понять, что это значит.

Франция была той крупной державой Европы, общее политическое ослабление которой в первой четверти XVIII в. напрямую обуславливалось возрастанием военного могущества России. Во-первых, она была ослаблена итогами войны за испанское наследство (1701–1713), потому что лишилась поддержки своей главной европейской союзницы Швеции, занятой борьбой с Россией. Во-вторых, она недальновидно упустила шанс установления союза с Россией (этот шанс ей давала русская дипломатия в 1717–1718 гг.), потому что до самого конца Северной войны не верила в способность России самостоятельно противостоять общеевропейскому политическому давлению. А в результате перспектива её общекионтинентальной гегемонии, которая ещё в конце XVII в. многим казалась неизбежной, к моменту подписания в 1721 г. Ништадского мира между Швецией и Россией развеялась как дым. Что касается Англии, то хотя она и осталась ведущей морской державой мира, но её политика на Балтике обернулась для неё самой наиболее крупным и болезненным поражением. Ещё до заключения Ништадского мира английская разведка доносила Георгу I: «...русское владычество на Балтике угрожает стать для британской торговли хуже, чем было шведское».⁴⁸ Раздражение Англии дошло до того, что английский резидент в Петербурге Джеффрис предлагал послать корабль под чужим флагом к Аландским островам, чтобы захватить русских и шведских участников проходившего там мирного конгресса, и он же разрабатывал план захвата Ягужинского в Данциге по пути в Вену. Даже в самой Европе Англия встретила противодействие своей «балтийской политике»: Париж отказался присоединиться к предъявлению ультиматума России, где Петру предлагалось оставить себе Петербург с Карелией и Ингрией, а всё остальное завоёванное вернуть под угрозой применения силы. Как следствие из всего этого, «английский кабинет отдавал себе отчёт в понесённом им тяжком дипломатическом поражении <...> Главный представитель крайне враждебной к России в те годы английской политики, король Георг I тоже “потерпел ужасное поражение”, как вынужден с прискорбием признать относительно результатов Ништадского мира для Великобритании новейший английский историк Чэнс»⁴⁹.

Как видим, Петр I действительно «наказал» и Францию, и Англию: первую – потерей абсолютного могущества на суше, а вторую – потерей абсолютного могущества на море. Но можно ли связать эти формы наказания с теми их конкретными формами, которые даны в сказке (лишение Поварихи правого, а Ткачихи – левого глаза)? Здесь в первую очередь нужно понять, каким критерием различения «правого» и «левого» мог в данном случае пользоваться Пушкин. На мой взгляд, таким критерием является известное высказывание Петра I: «Всякий potentat, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет»⁵⁰. Рук, как известно, у всякого «потентата» две: правая и левая. И хотя Петр не указал, какую он соотносит с армией, а какую с флотом, но это легко вычислить по сравнению бюджетных статей его расходов на армию и флот. «Выделив <...> 4,6 миллиона подушных сборов в непосредственное распоряжение сухопутного ведомства, правительство определило следующую затем по размеру статью поступлений – косвенные налоги (таможенные и кабацкие) – на покрытие другого первостепенного по важности государственного расхода – на содержание флота, в размере 1,4 миллиона...»⁵¹. Итак, 4,6 млн на армию («правая рука») и 1,4 млн на флот («левая рука») – полное совпадение со сказкой, где Повариха лишается именно правого глаза, а Ткачиха – именно левого.

Но в сказке всё же говорится не о «руках», а о «глазах». Имеет ли и эта деталь под собой хоть какое-то историко-фактологическое обоснование? В пользу положительного ответа на вопрос приведу выдержку из письма Петра I Меншикову по случаю Гренгамской победы (1720): «Правда не малая виктория может причесться, а наипаче, что **при очах английских**, которые равно шведов обороняли, как их земли, так и флот»⁵². Е. В. Тарле так комментирует эти слова Петра I: «При очах английских <...> Английским очам предстояло увидеть в 1721 году ещё более печальное зрелище: полное крушение всей их политики на Балтийском море...»⁵³.

Французскими же «очами», то есть непосредственными свидетелями русских побед, были, конечно же, Кампредон и специальный посланник по торговым переговорам с Россией Дешаррье. Первый доносил в Париж, что у царя имеется в распоряжении минимально 115–118 тысяч регулярных войск, не считая казаков, калмыков, киргизов и т. п. А второй, изучив некоторые производства в России, пришел к заключению, что и пушечный, и ружейный порох в России гораздо лучшего качества, чем французский⁵⁴.

Иными словами, и Англия, и Франция признали ту, **колющую**, по известной пословице, **глаза**, очевидность, что Россия стала при Петре I одной из самых могущественных стран на море и самой могущественной – на суше.

Глава 9

Бабушка Гвидона

Ситуация со сватьей бабой Бабарихой – несколько более сложного свойства, нежели ситуации с Ткачихой и Поварихой: Гвидон здесь и умалывается не до такой степени, как в первых двух случаях, и наказывает Бабариху менее жестоко («Нос ужалил богатырь: На носу вскочил волдырь»). Да и появляется Бабариха в сказке не с самого начала, то есть не одновременно с Ткачихой, Поварихой и Царицей-Матерью, а лишь в середине сюжета. Всё это, как мы увидим ниже, неслучайно.

Россию с Австрией и в самом деле связывали особые отношения, потому что Австрия была для России единственным постоянным, хотя неискренним и ненадежным, европейским союзником по борьбе с Турцией (напомню, что во время войны с Турцией за Азов Россия формально находилась в союзнических отношениях с германским императором). А единственный официальный визит Петра I в Вену во время Великого посольства 1697–1698 гг. как раз имел своей целью попытку России предотвратить распад антитурецкой коалиции (в связи с желанием Австрии выйти из неё для свободы рук в ожидавшейся войне за испанское наследство). Позиция России во время этих переговоров была заведомо проигрышной, и сам визит Петра в Вену только тем и остался примечателен в истории русско-австрийской дипломатии, что начисто лишён был обычной для Петра экстравагантности поведения. Даже наоборот: по части учтивости и любезности Петр превзошёл самого себя, рассыпаясь в не свойственных ему пустых любезностях (что отметили в своих донесениях абсолютно все иностранные послы в Вене). Проще же говоря, Пётр во время своей беседы с императором Леопольдом откровенно льстил ему, разыгрывая восторженное отношение к собеседнику и горячее желание как можно чаще с ним видеться. Какого внутреннего напряжения это стоило Петру, показывает тот факт, что по окончании визита он, проходя по парку, увидел стоящую у берега пруда лодку, прыгнул в неё и, налегая изо всех сил на вёсла, сделал несколько кругов по водоёму⁵⁵.

Вот это-то необычное поведение Петра и дало Пушкину повод символически обыграть «конфликт между Бабарихой и шмелём». Дело в том, что достаточно известное во времена А. С. Пушкина сочинение Ф. Бэкона «Опыты или наставления нравственные и политические» содержит в главе «О похвале» небезынтересную для нашего случая греческую поговорку: «У того, кого хвалят во вред, должен вскочить волдырь на носу»⁵⁶. А то, что Петр хвалил императора «во вред», то есть неискренне, доказывается фактом секретных переговоров Петра с польским королем Августом II – переговоров, проводившихся одновременно с официальными венскими, но за спиной Вены⁵⁷.

Интересна мотивация поведения шмеля в отношении Бабарихи: «Но жалеет он очей Старой бабушки своей». Что означает здесь этот термин – «бабушка» – применительно к империи Габсбургов? Насколько он оправдан? Оказывается, оправдан – если понимать его исторически. Надо только вспомнить следующее. Во-первых, в территориальном и этническом отношениях Австрия представляла собой преимущественно славянское образование. Во-вторых, и в историческом плане она тоже являлась не более чем захваченной немцами славянской территорией («Совершенно особая черта немецкого развития состоит <...> в том, что две составные части империи, в конце концов разделившие между собой всю Германию, обе не являются чисто немецкими, а были колониями на завоеванной славянской земле: Австрия – баварской, Бранденбург – саксонской колонией; и власть в самой Германии они добыли только потому, что опирались на свои иноземные, не немецкие владения...»⁵⁸). В-третьих, даже в разгар своей уже вполне самостоятельной средневековой истории Австрия являлась не чем иным, как мелкой «разменной монетой» в территориальных спорах между чешским и немецкими королевствами

– в их борьбе за императорскую корону (в связи с этой борьбой Н. Я. Данилевский даже называет Австрию, как и Пруссию, «отпрысками Чешского королевства»⁵⁹). Чешская же государственность, необычайно сильная в то время (особенно в XIII в. и во многом предвосхитившая позднейшую централизаторскую функцию Австрии, считается на сегодняшний день древнейшей из всех славянских, так как славянское княжество Само, возникшее в первой половине VII в. на территории будущей Австрийской марки, было непосредственным предшественником Великоморавского государства (IX в.), на развалинах которого в X в. появилось чешское. Вот эта-то славянская предыстория Австрийской империи и позволяла ей во времена Пушкина считаться в некотором роде «бабушкой» всех позднейших славянских государственных образований, включая русское.

Раз уж я обратился к древнейшей истории, то объясню попутно причину относительно позднего, по сравнению с Ткачихой, Поварихой и Царицей-Матерью, появления в сказке Баба-рихи. Здесь нужно иметь в виду следующее: ни территориально, ни этнически, ни династически Священная Римская империя Габсбургов не имеет ничего общего (кроме имени) со Священной Римской империей Каролингов. Последняя, созданная франкскими королями в границах прежней западной Римской империи, достигла наивысшего могущества при Карле Великом (768–814), объявившем себя в 800 г. императором. После его смерти она в 835 г. распалась, дав начало современным европейским государствам – Франции, Германии и Италии. Примерно к этому же времени принято относить возникновение государства Англии (объединенной в 827 г. под властью её первого короля Эгберта) и Руси (летописное начало которой принято отсчитывать от прихода в Ладогу в 862 г. Рюрика). Италия с самого начала не сумела заявить о себе как о самостоятельной политической силе; раздираемая соседями (французами, германцами, арабами, византийцами), она вплоть до 1870 г., то есть до объединительной войны под руководством Дж. Гарибальди, оставалась раздробленной и слабой. Германия же раннего средневековья, истощив себя в кратковременной, но бурной эпохе крестовых походов, а также в борьбе с папами, затем на целые столетия погружается в политическое прозябание из-за внутренних междоусобиц. Да и самосознание её населения долго ещё не могло достичь уровня «национального общенемецкого»; на протяжении столетий оно продолжало оставаться «разноплеменным германоязычным». Потому-то Пушкин и не счёл нужным включать эти страны на равных в круг «матери Гвидона и его тёток», то есть в круг основных претенденток на звание «царицы» в завязке сюжета. (Впрочем, германское начало достаточно сильно заявило о себе уже в лице Англии и Франции, поскольку первая возникла как результат завоевания германцами кельтов, а вторая – кельто-романцев.) Иллюзия же тысячелетней непрерывности и целостности германской государственности создаётся тем, что в 962 г. Германия вновь присваивает себе титул «Священной Римской империи», позже изменённый в претенциозно-фиктивный титул «Священной Римской империи германской нации». Фиктивность титула выражалась в том, что императорское звание было, как правило, чисто формальным, а сама «империя» вплоть до конца XV в. представляла собой арену борьбы польских, чешских, немецких, венгерских и других королей за тот или иной её «кусочек». Да и причина реанимации в 962 г. титула «Священной Римской империи» была по своей сути внегерманской: она заключалась в претензиях римской курии на вселенскую власть (потому-то и выборные «императоры» до самой середины XIV в. короновались исключительно в Риме).

Лишь в XV в. наблюдается более или менее устойчивая концентрация общегерманской власти вокруг маленького Австрийского эрцгерцогства. Начиная с 1438 г. его «хозяева» – династия Габсбургов – почти непрерывно владеют императорской короной. Принято считать, что именно этой династией и заложено основание позднему могуществу Австрии.

Глава 10

Царевна Лебедь

Как видим, применительно к Бабарихе в сказке нет ни одного случайного образа или мотива. Даже такая, вполне объяснимая, казалось бы, из внутренней логики самой сказки деталь, как выражение «четырьмя все три глядят» (об одноглазых Ткачихе с Поварихой и двуглазой Бабарихе), и та, оказывается, находит свою смысловую параллель в особенностях европейской международной политики первой четверти XVIII в. Означает эта деталь следующее: после окончания войны за испанское наследство Петр I имел в Европе дело уже не просто с отдельными державами, а с их коалицией, которая состояла из Англии, Франции, Австрии и Голландии и называлась поэтому «Четверным союзом». Но членство Голландии в «четверке» было чисто формальным, – она в интересах своей торговли занимала нейтральную позицию, поддерживая через русских дипломатов самые дружественные отношения с Россией⁶⁰. Потому-то у Пушкина и сказано: «Четырьмя все три глядят», то есть «формально трое выглядят как четверо».

Решающий же тест на тождество Бабарихи и Австрии – это, конечно же, утверждение Бабарихи, что настоящим чудом следует считать не какой-то там новый город на никому не ведомом острове, а только лишь живущую где-то за морем царевну неслыханной красоты. Но чтобы понять скрытый смысл этого утверждения, нужно знать, в чём заключалась основная «головная боль» Австрии как государственно-управленческой системы. А заключалась она в том, что собственно-австрийская часть империи Габсбургов была не органически возникшей и естественно развивающейся формой государственного самовыражения немецкого народа, а рыхлым эклектическим соединением германских, славянских, венгерских и других земель разного политического статуса и веса. Самое же главное противоречие заключалось не просто в разнородном национальном составе населения страны, но в чисто искусственной, противоестественной организации отношений между её господствующим немецким меньшинством и бесправным многонациональным большинством. То есть австрийское правительство в принципе лишено было способности выражать интересы и чаяния своих подданных, как и способности сплачивать их перед лицом какой-либо общегосударственной задачи, потому что главная, каждодневно насущная его проблема состояла в необходимости осуществления узконемецких целей не немецкими, а чужими, преимущественно славянскими, руками. Это хорошо видно уже у Н. Я. Данилевского: «Смысл австрийского конгломерата народов, идея Австрийского государства, как выражается чешский историк Палацкий, заключалась в обороне расслабленной и раздробленной Германии против напора французов и турок, – обороне, в которой главное участие пало на долю славян. Идея эта была вызвана внешними случайными обстоятельствами, с прекращением которых, очевидно, упразднилась и сама эта идея, то есть необходимость и смысл существования Австрийского государства, которое, исполнив своё временное назначение, обращается точно в такой же исторический хлам, как и сама Турция, после того как не предстоит более в ней надобности для охранения православия и славянства посторонними силами. Вольная и невольная, сознательная и бессознательная польза, приносимая как Турцией, так и Австрией, прекратилась: остался один гнёт, одно препятствие к развитию народов, которым пришла пора освободиться от тяжёлой опеки»⁶¹.

Нужно, впрочем, признать, что умение австрийского правительства гасить постоянно возникавшие в стране центробежные силы, грозившие разорвать её, блестяще проявилось в деятельности известного политика Австрии XIX в. – князя Меттерниха, сумевшего своей «политикой недеятельного сна» (выражение Данилевского) растянуть полупаралитическое существование империи на целую треть столетия.

Особенно напряженные отношения сложились у Австрийского правительства со своими славянскими подданными (с народами Богемии, Моравии, Галиции, Лодомирии, Буковины, Каринтии, Крайны, Далмации, Истрии, Хорватии и Словении), которые хотя и образовывали собой подавляющее большинство населения империи (почти 50 %), но были разобщены и потому бесправны (в отличие от венгров, которые, в силу своей национальной монолитности, всегда находились в более выигрышном по сравнению со славянами положении и даже добились впоследствии равноправия с немцами, после чего и сама империя стала называться уже не Австрийской, а Австро-Венгерской). Но понятно, что многовековая правовая дискриминация славян была бы невозможна без её «идеологического обеспечения», то есть без взгляда на славян как на людей второго сорта. А этот взгляд подготовлялся и выковывался всей предшествующей германской историей, в которой ещё со времён Карла Великого широко практиковались и прямой захват славянских земель, и крестовые походы на славян, и технологии культурного онемечивания. Всё это вместе взятое покрывала и санкционировала формальная преемственность Германской империи от Римской, так как свойственный античному Риму взгляд на северноевропейские племена как на «варваров» теперь уже воспроизводился по исторической инерции таким же взглядом немцев на славян.

При таких заведомо антагонистических отношениях со своими «варварскими» подданными австрийское правительство могло лелеять одну-единственную политическую идею фикс – мечту об «идеальном» для своей власти народе, то есть мечту о таких «цивилизованных» подданных, с которыми у правительства не возникало бы никаких проблем. Соответственно выражением этой золотой австрийской мечты и следует считать утверждение Бабарихи, что нет на свете большего чуда, нежели живущая где-то за морем «царевна». Но при этом нужно иметь в виду, что олицетворение «идеального (для власти) народа» в образе «царевны» вовсе не является личным художественным изобретением Пушкина. Просто поэт воспользовался здесь очень древним фольклорно-мифологическим архетипом, трактующим «народ» как «царскую половину» или «супругу» (в русском языке такая трактовка «народа» до сих пор живет в выражении «венчаться на царство», то есть в представлении о «венце» как о символе обладания не только «супругой», но и «царством» – совокупностью царских подданных).

Но если «царевна» – это и в самом деле олицетворение «идеального (для власти) народа», то тогда и её неумеренное восхваление Бабарихой в переводе на обычный язык следует понимать так: «Подумаешь, русская крепость в каком-то там глухом углу Балтики! Разве можно серьезно воспринимать случайный военный успех страны, населенной варварами (варианты: скифами, татарами, дикими москвитами). Такой народ уже одним фактом своего существования поставит крест на всех грандиозных замыслах царя Петра. А вот если случится обратное – тогда и мы признаем это за чудо».

Ответ на вызов «сваты» известен: импульс, приданный петровскими реформами России, если и не навсегда покончил с западным представлением о ней как о стране «варваров», то существенно умерил пренебрежительное отношение Европы к России. А то, что образ царевны Лебеди и вправду служит в сказке символическим олицетворением русского народа, доказывается и словами Царевны «Ты найдешь меня повсюду», и реакцией Гвидона на явленные ею чудеса: «...вижу я: Лебедь тешитя моя». Действительно, и строительством в устье Невы города, и средствами на войну, и флотом, и победами – всем этим Петр I был обязан русскому народу. «Никогда ни один народ не совершал такого подвига, который был совершён русским народом под руководством Петра; история ни одного народа не представляет такого великого, многостороннего, даже всестороннего преобразования, сопровождавшегося столь великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории»⁶².

Можно, конечно, оспаривать превосходные степени данного утверждения («никогда», «ни один») как извинительное на почве национальной гордости преувеличение. Можно также

оспаривать ценность петровских преобразований или качество их последствий для русского народа. Но невозможно оспорить тот главный факт, что всё совершённое русским народом при Петре I и под его руководством – действительно похоже на чудо.

Глава 11

Тайна Гвидона

В результате совершенного чуда искомая царевна оказывается «судьбой» Петра I («Знай, близка судьба твоя, Ведь царевна эта – я»), то есть критерием народности всего его дела. Только так, и больше никак, можно понять следующий затем эпизод «Сказки о царе Салтане», в котором описывается бракосочетание князя Гвидона и царевны Лебеди. Но как раз этот-то эпизод, символизирующий единение власти с народом, и смутил меня; именно на этом месте я вдруг впервые почувствовал, что абсолютного совпадения не получается. Во-первых, слишком хорошо известны тёмные стороны деятельности Петра I, а также неоднозначные следствия этой деятельности для всей последующей истории России. Во-вторых, сама царевна Лебедь как фольклорный персонаж – это образ с подвохом: в народных сказках овладеть ею, чтобы заставить затем исполнить трудные, свыше сил человеческих, задачи можно лишь, овладев предварительно её «лебединой одеждой», то есть крыльями. В переводе на язык пушкинской сказки (где, кстати, фольклорный мотив «овладения крыльями» царевны отсутствует) это означает, что единственно легитимной может быть лишь та власть, для которой считаются своими «крылья народа» – его интересы и идеалы. Но допустимо ли вообще говорить о каком-либо соглашении между народом и властью, олицетворяемой Петром I?

Да, конечно, есть огромная доля правды в характеристике Петра I, данной ему С. М. Соловьевым: «Петр со своими сподвижниками заканчивает, собственно говоря, богатырский отдел русской истории. Это последний из величайших богатырей; только христианство и близость к нашему времени избавили нас (и то не совсем) от культа этому полубогу и от мифических представлений о подвигах этого Геркулеса»⁶³. Но ведь не меньшая доля правды – и в стихах М. Дмитриева о чудовищно дорогой цене, заплаченной за «город на костях» («Богатырь его построил, топь костями забутил»). Да, конечно, Петр I поймал «волшебную белку с её драгоценными орешками» (он к концу царствования был в 3,5 раза богаче своего старшего брата Фёдора Алексеевича). Но ведь именно со времени введения подушной подати и начались все настоящие тяготы крепостного права на Руси, каких не бывало прежде. Да, конечно, Петр I сделал Россию морской державой. Но экономическую выгоду от этого извлекла по большому счету не Россия, а контролировавшие её внешнюю торговлю иноземцы.

Тем удивительней выглядит в «Сказке о царе Салтане» однозначно положительный образ князя Гвидона. То есть не то чтобы Пушкин не понимал, что «реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой»⁶⁴, и не то чтобы он обязан был показать нам личность Петра I и с тёмных её сторон. Но тот Пушкин, которого мы знаем и любим, в принципе не способен был на какую-либо тенденциозную односторонность; главной особенностью его гения как раз и было умение объять изображаемый объект целиком, во всей его противоречивой сложности. Ведь даже в подцензурных своих произведениях он не скрывал двойственного характера петровской эпохи и самой личности Петра («Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые, нередко жестокие, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего; вторые – вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика»⁶⁵). Так почему же в сказке, где можно было сказать намного больше, чем в подцензурном произведении, мы видим одну лишь чистую апологию Петра? Почему именно с тех страниц этой сказки, которые описывают остров Буян с его чудесами, на читателя буквально обрушиваются потоки света, радости и веселья?

Объяснение, лежащее на поверхности: согласно одному шведскому преданию, в центре будущего Санкт-Петербурга – на острове Заячьем – находилась в допетровские времена мыза (дача) графа Стенбока, названная им «Люстгольм» («Увеселительный остров»). Отголосками этого предания можно считать такие, дошедшие до нас, названия острова, как «Люстранд», «Люст-Елант» – «Весёлый остров». Но, согласно тому же преданию, после сильного наводнения, унёсшего жизни нескольких обитателей мызы, граф назвал остров «Тойфельгольм» («Чёртов остров») ⁶⁶. Таким образом, уже на уровне предания мы имеем смысловую двойственность в названии центра будущего города. И едва ли Пушкин мог обойти эту двойственность своим вниманием. Так что скорее всего мы просто ещё далеко не всё поняли в задуманной им «концепции острова Буяна». И вовсе не исключено, что и здесь – как в случае с «белкой под ёлкой» – тоже скрывается ещё одно, третье по счету, смысловое измерение сказки.

Но тогда, может быть, входом в это измерение служит какое-то, до сих пор не расшифрованное нами, имя? Кстати: главного героя «Сказки о царе Салтане» зовут Гвидоном. Почему?

Нет сомнения, что, наделяя образа Гвидона скрытым смыслом, Пушкин отталкивался от каких-то переносных значений данного французско-итальянского корня, послужившего основой для имени героя. Но *что конкретно* он имел в виду?

Имя «Гвидон» взято из очень популярного в России XVII–XVIII вв. произведения – из так называемой лубочной повести «О Бове королевиче», известной также под названием «Истории о княжати Гвидоне». В Россию это произведение попало, как считают некоторые литературоведы, через посредство сербского перевода из французско-итальянской литературной среды XV–XVI вв. Это значит, что смысловое содержание имени «Гвидон» можно понять или из ролевой функции лубочного Гвидона, или из французско-русских и итальянско-русских словарей. А поскольку сам лубочный Гвидон как литературный персонаж ничем особенным не отмечен (он известен главным образом как отец основного героя – Бовы), то я решил обратиться к словарям. Только они могли подтвердить, действительно ли, наделяя образ Гвидона скрытым смыслом, Пушкин отталкивался от каких-то переносных значений данного французско-итальянского корня, послужившего основой для имени героя.

Оказалось, что по-французски «**guide**» означает: 1) гид, проводник; 2) путеводитель, справочник; 3) руководитель; 4) *воен.* направляющий; 5) *мех.* направляющая; 6) *мор.* вежа, буй; 7) вожжа; «**guider**»: 1) вести, указывать дорогу; 2) вести (*машину и т. п.*); 3) править, руководить, направлять; «**guidon**»: 1) флажок, значок (*служащий вехой*), *мор.* брейд-вымпел, мушка (*у огнестрельного оружия*); 3) руль (*велосипедный*); 4) знак вставки (*в корректуре*) ⁶⁷. По-итальянски же значения слов почти совпали с французскими и «**guida**» означает: 1) проводник, гид, вожатый; 2) наставник, руководитель; 3) путеводитель, руководство, справочник; 4) стрелка; 5) *мех.* направляющая; 6) управление; 7) вождение (*машины*); «**guidare**»: 1) править, водить, управлять; 2) командовать; 3) наставлять; 4) вести, лидировать; «**guidone**»: 1) флажок регулировщика, вымпел, значок штаба, *мор.* брейд-вымпел; 2) *мор.* руководство по сигнализации ⁶⁸.

Идея «управления» («руководства», «водительства») хотя и не объясняла причины идеализации Гвидона в «Сказке о царе Салтане», но по крайней мере вполне отвечала исторической роли и психологическому типу личности Петра I. А вот итальянское слово «**guidone**», помимо перечисленных значений, содержало в себе, как оказалось, дополнительный (переносный) смысл, который буквально ошеломил меня, поскольку один из переводов означал «негодяй» и «мошенник»! Соответственно, слово «**guidoneria**» переводилось как «мошенничество» и «жульничество» ⁶⁹!

Придя в себя от шока, я по некотором размышлении постарался убедить себя, что образ «Гвидона» как «негодяя и мошенника» составляет естественный противовес его слишком уж идеализированному образу. А в плане своего историко-фактологического обоснования он

целиком отвечает известному народному восприятию Петра I как «антихриста». Но, разумеется, самому Пушкину резко отрицательный взгляд на Петра I должен был казаться такой же неприемлемой крайностью, что и односторонне-положительный взгляд на него. Оставалось поэтому снова вернуться к лубочному Гвидону, чтобы попытаться понять его уже не через имя, а через ролевую функцию. Ведь, строго говоря, абсолютно все персонажи этого литературного жанра представляют собой, в силу внутривидовых законов, так называемые маски или олицетворенные функции, то есть закрепленные в тех или иных гротескных образах психологические типы. Так, «Дадон» – это «злой царь», «Милитриса» – «неверная и злокозненная жена», «Бова» – «доблестный герой» и т. д. «Гвидон» же в этом смысле подпадает под определение «жертвы чужих интриг», потому что, женившись на Милитрисе, гибнет в результате её тайного сговора с Дадонем.

Но соответствует ли такое понимание сущности образа лубочного Гвидона пониманию его самим Пушкиным? Оказывается, можно доказать, что соответствует. Дело в том, что Пушкин еще в 1814 г. приступил к созданию поэмы «Бова», периодически возвращаясь к ней в 1822 и в 1834 гг. (он даже планировал обработать её в духе «Сказки о царе Салтане», то есть переписать таким же стихотворным размером). Но в отрывке 1814 г. отцом Бовы он сделал почему-то не Гвидона, а некоего «слабоумного Бендокира», хотя позднее вернулся к имени «Гвидон». Это говорит, по меньшей мере, об осознанном отношении молодого Пушкина к характеристической роли лубочного Гвидона, по собственной вине (то есть по «слабоумию») ставшего «жертвой чужих интриг». И хотя акцент на «слабоумии» здесь можно отнести на счёт максимализма молодого (15-летнего) Пушкина, но несомненно и то, что сама функциональная роль Гвидона как «жертвы чужих интриг» была ясна ему уже в юности. Её-то он и мог предназначить герою «Сказки о царе Салтане», тоже назвав его Гвидоном.

Придя к такому выводу, я вдруг понял, что он идеальным образом вписывается и в первое значение французско-итальянского корня **«guid»**, поскольку отражаемая им идея «руководства» включает в себя специфику некой «направляемой инструментальности» (путеводитель, справочник, руль, стрелка, флажок и т. д.). А ведь и Петр I, как показывают данные исторических исследований, с самого раннего детства оказался если не жертвой чужих интриг, то, по меньшей мере, игрушкой неблагоприятных обстоятельств, объектом многочисленных заинтересованных воздействий на него. Практически нет ни одного историка, который не отмечал бы огромной роли придворных боярских интриг в процессе формирования личности юного Петра I. Достаточно часто указывалось и на значение во внутренней русской политике того времени обитателей Немецкой слободы, большей частью авантюристов и искателей приключений; в частности, С. М. Соловьев характеризует их как самых настоящих вершителей судеб России (Немецкая слобода, по его выражению, – это ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве). Наконец, обращалось внимание и на чисто объективные условия, в силу которых уже с самых ранних лет Петр, «этот юный гений, окружен был и русскими людьми большей частью такими, семьи и роды которых пострадали от стрелецкого бунта, то есть когда окружавшие Петра русские люди лишены были самообладания и справедливой оценки людей и дел в господствовавшей подле них русской среде. Перед глазами Петра была, с одной стороны, мятежная, неистовая русская Москва, с другой – веселая, дружественная немецкая Москва. Из-за той и другой Москвы он не видел спокойной, богатой добрыми чувствами и силами России или смотрел на неё то как на ту же мятежную Москву, то как на грубый материал, подлежащий обработке по иноземным образцам»⁷⁰

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.